



*Галина Иосифовна Серебрякова*

**М А Н О Н      Р О Л А Н**

По изданию:

Г.Серебрякова. Женщины эпохи Французской революции

Веб-публикация: Марта и редакторы Vive Liberta, 2003

Правда, Гатьен Флипон был неплохим гравером, но ремесло это не давало больших доходов. Желая разбогатеть, он открыл на набережной Часов в Париже ювелирную лавку и занялся продажей драгоценных камней, тяжелых медальонов, блестящих пряжек, колец, браслетов, табакерок. Не без зависти Гатьен следил за тем, как его друзья, такие же презираемые аристократией представители третьего сословия, спекулируя на поставках, занимаясь ростовщичеством, ловко прибирали к рукам имущество разорявшейся придворной знати. Но Гатьен Флипон - любитель выпить и поиграть в карты - не разбогател, и ему пришлось довольствоваться скромной участью мастера-ювелира. Он жил в обществе незначительных и небогатых городских мещан и безызвестных художников, пришедших в Париж за славой, которых умело эксплуатировал в своей граверной мастерской. Сколотив маленькое состояние, ювелир начал подумывать о женитьбе. Барышня Маргарита Бимон показалась Гатьену подходящей невестой. Она удачно подражала манерам дам-аристократок, была скромна и послушна. После свадьбы Маргарита с большой грацией и любезностью умела угождать капризным заказчицам и покупателям, которых в носилках, украшенных резьбой и позолотой, приносили

слуги к ювелирной лавке на набережной Часов. Ее обязанностью было также наблюдать за работой учеников и подмастерьев мужа, вести счета и хозяйство. Из семи детей четы Флипон осталась в живых только одна дочь Манон-Жанна, родившаяся в Париже в 1754 году.

Когда двухлетняя девочка вернулась из деревни, где жила у кормилицы-крестьянки, в дом ювелира, Гатьен Флипон стал хвастать дочерью так же, как сложными украшениями, сделанными его мастерской рукой. Хорошенькая Манон была действительно сообразительным и способным ребенком. Ей не было еще пяти лет, когда на чердаке дома в забытых сундуках она нашла старые заплесневевшие и пожелтевшие книги и по ним почти без посторонней помощи выучилась читать, вызвав шумные одобрения взрослых. У Манон не было друзей-сверстников. Самовлюбленность ювелира и необщительность его жены лишили ее детского общества, никто в квартале не казался родителям достойным товарищем их дочери. Манон редко выпускали одну из старого, плохо вентилируемого дома на улицу, живописно сползавшую к зеленой Сене. В дождливые летние дни она никогда с оравой соседских детей не шлепала босыми ножонками по скользким теплым лужам, приподняв длинную юбочку. Никогда не лазала она на старые деревья, чтоб оттуда бросать каштаны в добродушных пешеходов, не дразнила бездомных собак, не высмеивала расфранченных аристократов, подобно цапле задирающих в осеннюю слякоть ноги, обутые в шелковые туфли. С раннего детства Манон усвоила насмешливо-презрительный тон по отношению к детям своего квартала. Дочь ювелира неудержимо влекло к нарядным и завитым, как она сама, юным аристократкам, которые, однако, откровенно ею гнушались. Ничто не могло приблизить Манон к ним: ни ее любезность, ни то, что десяти лет она уже прочла Плутарха, была поражена его героями, плакала над гениальным Торквато Тассо, лучше всех отвечала «Песнь песней» в приходской школе и удивляла соседей цитатами из Вольтерова «Кандида». Бабушка Манон была только прислугой маркизы Креки, а отец - мелкий лавочник: вот что решало ее судьбу и было для нее источником затаенного мучительного горя.

Манон тщетно старается скрыть обиду, когда в замке Фонтенэ ее с матерью помещают в каморках, где ютятся слуги, кормят в буфетной и во время праздника разрешают лишь через решетку сада смотреть на пестрый дождь и костры фейерверка. Но на

набережной Часов честолюбивая девочка чувствует себя принцессой, переодетой по недоразумению в замарашку. В нише своей комнаты с узеньким оконцем, похожим на бойницу, Манон каждый день любит отражением неба в водах Сены. Она по-книжному любит природу, полагая, что это обязательная особенность «исключительных натур». Напрасно Гатьен пытается обучать дочь граверному мастерству, рассчитывая сделать ее своей помощницей. Легко усваивая тонкую работу резцом, Манон бросает это ремесло, пугаясь возможности стать в будущем всего лишь хозяйкой ювелирной лавки. С каждым днем укрепляется в ней самомнение, и вместе с этим все труднее становится помогать в стряпне матери и - что еще унижительнее - ходить на базар за овощами или куском мяса. Манон подчиняется «судьбе» смиренно, но в мемуарах, вспоминая эту пору почти тридцать лет спустя, не может удержаться от сожаления: «Эта малютка, которая прекрасно могла объяснить законы движения небесных светил, которая рисовала карандашом и тушью и в восемь лет танцевала лучше всех на вечере, где были взрослые девицы, эта малютка часто бывала принуждена идти на кухню, чтоб изжарить яичницу или сварить суп».

Одиннадцати лет Манон по собственному желанию поступила в монастырь Нев-Сент-Этьен. в предместье Сен-Марсель. В монастыре, расположенном в парке, заросшем столетними густыми деревьями, по ее словам, Манон предалась размышлениям о вечности и о боге. В монастыре находились еще тридцать четыре воспитанницы, настолько «обыкновенные и неинтересные», что Манон с трудом подыскала себе подруг. Госпожа Ролан, никогда не обладавшая излишней скромностью, впоследствии красочно описывает в мемуарах, как «светское обхождение, ум и знания ребенка подчиняли ему окружающих». Сестры Канне, уроженки Амьена, в виде исключения удостоенные дружбы Манон, беспрекословно ей подчинялись и благоговели перед ней всю жизнь.

Каждое воскресенье в монастырь приезжали родители учениц. В белой, незатейливо убранной деревянной мебели приемной монастыря сидели, ожидая дочерей, смущенные строгими лицами монахинь отцы и матери. Это были мелкие фабриканты, торговцы и зажиточные ремесленники. Гатьен Флипон, гордый отец «первой ученицы», встречал появление дочери громкими восклицаниями, неуклюжими, объятиями и поцелуями. Дни посещений не

доставляли радости Манон, она не могла побороть в себе противоречивых чувств: нежности к родным и стыда за их демократический вид, речи и положение в свете. Мир казался ей тогда чрезвычайно жестоким и несправедливым.

По истечении года Манон покинула монастырь. Прощание было трогательным; плакали воспитательницы, подруги Манон, но особенно горевали сестры Канне. Во время разлуки между подругами завязалась обширная переписка, полная грустных или насмешливых излияний, иногда остроумных и злых характеристик, поучений, признаний, незначительной болтовни, составившая впоследствии два тома переписки госпожи Ролан.

В доме бабушки, парализованной старухи, где несколько лет жила Манон, и позднее в тесной квартирке родителей барышня Флипон, поощряемая к тому родней, занята только собой. Монастырское влияние, вернувшее ей примитивную религиозность, борется с влиянием заново продуманных строк Вольтера, Рейналя, Мабли и впервые прочитанного Руссо. Просвещенной девице трудно верить в сказку о муках ада и о превращении черта в змею: она ищет ответа на свои сомнения в метафизике и философии, увлекаясь также историей и вопросами морали. При всем том она подолгу не отрывается от зеркала. Стараясь казаться беспристрастной, самовлюбленная до глупости юная мешаночка описывает свою наружность в следующих выражениях:

«В моем лице не было ничего поражающего, кроме большой свежести кожи и мягкости выражения; если рассмотреть все черты в отдельности, то можно задать себе вопрос, где здесь, собственно, заключается красота; нет ни одной правильной черты, но, взятые вместе, они нравятся. Рот мой немного велик, можно встретить тысячи более красивых, но ни одного с более нежной и увлекательной улыбкой. Глаза, напротив, не особенно велики, они серовато-синего цвета. Глаза немного выдаются, взор открытый, свободный, живой и мягкий; каштановые брови, совпадающие по цвету с волосами, красиво очерчены. Глаза меняют выражение, подобно любвеобильной душе, движение которой они отражают; иногда они поражают серьезностью и гордостью, но чаще они улыбаются и ласкают. Нос причиняет мне некоторое огорчение, я нахожу его несколько толстым в конце, но в ансамбле, особенно в профиль, он не нарушает гармонии. Широкий, открытый лоб, глубокие глазные впадины, между которыми ясно обозначается V с выступающими при малейшем возбуждении жилками; эта складка и

эти жилки спасают мой лоб от той незначительности, которую находишь у многих других. Подбородок, выдающийся вперед, цвет кожи не особенно белый, но живой, с ослепительными красками. Красивая круглая рука, приятная, хоть не очень маленькая кисть, здоровые ровные зубы, пышная фигура - вот те сокровища, которыми одарила меня мать-природа».

Прислушиваясь к звучанию своего имени, Манон опять не в силах умолчать перед потомством о своем мнении по этому важному поводу: «Да, Манон, так меня зовут, я жалею об этом, имея в виду любителей романов; это не громкое имя, оно не подходит к героине высшего порядка. Но в конце концов это мое имя, и я пишу свою историю. Кроме того, даже самые сентиментальные люди примирились бы с этим именем, если бы они слышали, как произносила его моя мать, и видели ту, которая его носила».

Итак, если верить Манон, она была очаровательна. Жители набережной Часов не остались равнодушными к ее талантам и красоте. Брачные предложения сыпались со всех сторон, но мог ли какой-нибудь торговец рассчитывать на то, что за его прилавком, блестя грацией и умом, будет сидеть Манон. Еще менее того могла бы снизить дочка ювелира до брака с добропорядочным ремесленником или поставщиком, которые никогда и не слыхивали обо всем том, что она знала. Манон отказывала, огорчая отца и мать, всем претендентам; для нее был невыносим муж, подобный ее отцу, которого она втайне презирала, подчеркивая свое превосходство. Ах, как Гатьен Флипон громко храпел на необъятной постели, как цинично шутил и ругался, залпом опустошая кружку вина, отплевываясь, икая и багровея.

Однажды Манон, проходя по базару с плетеной старенькой корзинкой, точно с букетом цветов, остановилась у громоздких желтых, красных и синих туш мясной лавки, чтобы выбрать кусок мягкой говядины. Из-за прилавка вдовец-мясник, красный, как его измазанный кровью фартук, смотрел на хорошенькую девицу с нескрываемым обожанием.

У него было пятьдесят тысяч ливров капитала, и дочка Гатьена Флипона, дела которого были неважны, могла вполне считать брак с ним выгодным, - все это обдумывал мясник, пока Манон весьма прозаически ощупывала скользкий кровотокающий кусок. Мясник отдал ей лучшую телячью грудинку за бесценок и пригласил заходить ежедневно. Своеобразное ухаживание продолжалось недолго, и нетерпеливый влюбленный вскоре появился

напудренный и украшенный золотой цепью часов поверх кафтана в доме Гатьена Флипона. В этот раз он поднес Манон розу вместо хорошего мясного вырезка и попросил ее обвенчаться. Манон, как «настоящая дама», сдержала свое негодование и отослала мяснику с босым мальчишкой отрицательный ответ, изложенный в изысканных выражениях.

Разборчивость Манон все чаще тревожила ювелира, и как-то за обедом, услав подмастерьев, он учинил ей грозный допрос. Манон не скупилась на слова, говоря, что никогда не пойдет замуж за человека «из простонародья»: ей нужен муж, с которым она могла бы делить чувства и мысли. Гатьен, уважающий себя и в своем лице всех торговцев, важно заметил, что купцы обладают хорошими манерами и образованием. Манон насмешливо отвечала, что умение кланяться и подражать богатым покупателям не называется «хорошими манерами» и образованием. В этом сословии, заявила решительно барышня Флипон, нет людей в ее вкусе: «Подумать только, что источником заработка купца является перепродажа по более дорогим ценам купленных товаров». Для того, чтобы заниматься вместе с мужем торговлей, не нужно было родиться такой, как она. Гатьен не нашел ответа, но почувствовал себя обиженным.

В летние жаркие дни Манон часто ездила в Медон, расположенный в нескольких лье от Парижа. Сквозь густую листву виднелся Париж, исчезающий иногда, как город сказки, за поднимающимся туманом. Манон любила в городской гуще выискивать башни Нотр-Дам, крыши дворца Тюильри и, следя за Сеной, похожей на заснувшую светлую рыбу, находить набережную Часов. В небольшом кабачке в лесу всегда был сытный, дешевый обед, во время которого крепкий, как деревья медонского леса, кабатчик отпускал веселые шутки и грубоватые каламбуры, смущавшие Манон. Пока родители или тетка, добрая старая дева, отдыхали на траве, поглощенные послеобеденным пищеварением, Манон гуляла в лесу, собирала в чаще цветы, не забывая грациозно наклоняться, или на уединенной полянке, сидя над прудом, как Нарцисс, в прозрачной воде искала свое отражение. Медон, похожий на дворцовый запущенный сад, будил в ней честолюбивые грезы. В мемуарах госпожи Ролан Медону отведено несколько поэтических строк: «Восхитительный Медон, как часто я в твоей тени вдыхала милый ароматный воздух, благословляя при этом

создателя и мечтая о совершенстве, испытывая чарующее желание позолотить облака будущего лучами надежды».

Незаметно и бессловесно умерла Маргарита Флипон. Гатьен Флипон, которого несколько сдерживали горестные просьбы жены, овдовев, почувствовал себя освобожденным и помолодевшим. Картежная игра быстро повела его к разорению. Испуганной надвигающейся нищетой Манон поневоле пришлось заняться лавкой в мастерской отца. Обязанности хозяйки магазина незаметно сблизили ее с интересами и нуждами по набережной Часов.

Пораженная несправедливостью, несказанным политическим бесправием, унижением и препятствиями, чинимыми ее сословию, Манон впервые начинает желать для Франции республики, знакомой ей по книгам древних. «Несомненно, что наше положение сильно влияет на образование нашего характера и наших убеждений, но можно сказать, что данное мне воспитание и идеи, приобретенные мною из книг и от окружающих, - все это соединилось, чтобы создать мои убеждения; мне казались смешными и несправедливыми все привилегии и сословные различия. В моем чтении на меня производили особое впечатление борцы против неравенства. Когда я присутствовала при выезде королевы и принцев или видела изъявления благодарности богу при разрешении королевы от бремени, я с болью чувствовала всю противоположность между этой азиатской роскошью, этим бесстыдным великолепием и бедностью и униженностью народа, который в своем ослеплении спешит лицезреть им же созданных идолов и бессмысленно рукоплещет тому блеску, который он сам оплачивает отказом от самого необходимого». Личное будущее не раз тревожит Манон, и когда некий наблюдательный господин предсказывает ей, что она станет писательницей, обрадованная и польщенная девушка тотчас хватается за такую возможность, но скоро отказывается от этого пути. «Мужчины не любят женщин-писательниц, женщины критикуют их, - думала она. - Если женское творчество плохо, его высмеивают, если хорошо - его приписывают другим».

Как-то раз в декабре 1772 года, когда дочка ювелира хлопотала у печи, помогая приходящей прислуге варить похлебку для отца и подмастерьев, отрываясь от этого занятия только, чтоб, наспех сбрасывая фартук, выбегать в магазин, обворожительно улыбаться покупателям и расхваливать товар, на пороге лавки появился пожилой мужчина. Манон уже собиралась приветствовать его

неизбежным традиционным вопросом, что именно из драгоценностей ему угодно купить, как вошедший неловко протянул ей письмо. Письмо было от монастырской подруги Манон Софьи Канне и являлось рекомендацией посетителю. Софья круглыми завитыми буквами писала: «Это письмо будет передано тебе философом господином Ролан де ля Платиер, о котором я тебе часто говорила. Это образованный и благородный человек; его можно упрекнуть только в излишнем преклонении перед древними в ущерб современникам, которых он ценит низко, да, кроме того, в слабости охотно говорить о себе». Манон немедленно пригласила господина Ролана де ля Платиер, внимательно к нему приглядываясь, в уютную, чрезмерно заставленную мебелью столовую.

Господин Ролан давно уже перешагнул за сорок. Все в нем внушало равнодушное почтение и отражало раз навсегда установленные привычки: и темное сукно кафтана, и толстые бумажные чулки, туфли-лодочки с большими бантами, и покачивающаяся походка, упрямый взгляд тяжелодума, светлые приглаженные волосы, не скрывающие лысины. Говорил он медленно, скучно, много, не слушая собеседника, молчал рассеянно, смеялся громко и добродушно. Манон без труда разглядела его умственную ограниченность, недюжинные знания и утомительные принципы. Она была равна ему разве только в самомнении, но обладала зато способностью подмечать во всех, кроме себя, смешное и слабое. Манон постигло разочарование, когда выяснилось, что аристократическое де ля Платиер не означало принадлежности Ролана к дворянству. Однако новый знакомый Манон имел доходное имение и хороший служебный пост инспектора мануфактур в промышленном провинциальном городе. Барышня Манон признавалась себе, что Ролан - философ, ученый и к тому же не бедняк - мог бы стать для нее подходящим мужем. Но господин Ролан не спешил высказывать свои планы на этот счет, хотя приходил часто, просиживал долго, без конца рассказывая о Германии, где уже был, об Италии, куда собирался съездить, постоянно осведомляя Манон о своих размышлениях, о своем здоровье и недовольстве людьми, которые его не понимают.

Идеи Ролана были отчетливы: слишком педантичный и любящий покой, он не утруждал себя сомнениями. Ролан требовал прав для третьего сословия, которому служил, осуждал министерство Людовика, разнузданность двора, поступки королевы,

хвалил Англию, ее законы и пуританизм. В течение нескольких месяцев Ролан не появлялся у Манон, он путешествовал по Италии, но, вернувшись во Францию, инспектор мануфактур по-прежнему регулярно посещает квартирку ювелира и резонерствует, не щадя терпения Гатьена Флипона, который не мог выносить его многословия. Жизнь барышни Флипон текла однообразно, в свободные часы она много читала и любила это подчеркнуть: книги по астрономии, физике, математике, химии, истории лежали раскрытыми на ее столе.

Прошло уже пять лет со времени знакомства Манон и Ролана, когда старый холостяк рискнул наконец посвататься. Манон нерешительно ему отказала, внезапно испугавшись будущего, объясняя отказ своей бедностью, нежеланием стать обузой мужу. Невозмутимо вежливый и раздражающе безразличный Ролан, не настаивая, покинул набережную Часов. Тщетно ждала его возвращения Манон, тотчас же раскаявшаяся в опрометчивом поступке.

Ролан не возобновлял своих домогательств и, казалось, исчез навсегда. Огорченная оборотом сватовства Ролана, Манон решила временно поселиться в монастыре, где провела в детстве спокойные дни. Там ей нравится дрессировать волю, ограничивая свои потребности и обрекая себя на лишения и полуголодное существование.

Лишь по истечении шести месяцев, уже неожиданный, в монастырь явился Ролан. В прежних выражениях, не переставляя слов, инспектор мануфактур повторил свое брачное предложение и получил поспешное согласие. Манон пишет об этом следующее: «Если брак, как я думаю, есть серьезный союз, соединение, при котором женщина обыкновенно берет на себя устройство счастья двух людей, то не лучше ли посвятить мои способности и мужество этой почтенной задаче, нежели уединению, в котором я живу».

Без иллюзий и радости двадцатишестилетняя Манон Флипон обвенчалась с Роланом в 1780 году. Через год Ролан переводится на службу в Амьен, где находятся подруги Манон София и Генриетта Канне. Семейная жизнь Роланов в Амьене непередаваемо монотонна; желание Манон быть добродетельной и примерной женой осуществляется с большим трудом. По несколько часов в день Ролан усыпляющим ровным голосом диктует жене свое новое сочинение об Италии, госпожа Ролан занимается также перепиской черновиков и правкой гранок. Она выполняла эту работу без

возражений, так как позволяла себе не только переправлять, но и дописывать самостоятельно кое-что в подготовляемую книгу. Уверенная в том, что отлично владеет пером, Манон не сомневалась в своем превосходстве над Роланом, но любила притворяться робкой, несведущей женщиной, преклоняющейся перед исключительно талантливым мужем. В действительности она следила за всем, что происходило вокруг. Манон знала, что цена хлеба растет, а заработная плата на мануфактурных фабриках падает, вследствие чего рабочие ропщут. Но рабочие мало интересовали госпожу Ролан, она считала, подобно Ролану, что их нужно «подтянуть», но «подтянуть» ей хотелось также королеву, королевский двор, всех аристократов, потерявших меру в своих тратах и заносчивости.

«Откуда придет твердая власть, кто прекратит усиливающееся справедливое недовольство?» - думала госпожа Ролан. Она знала, что король, тучный обжора, ничего не понимает в делах государства и занимается серьезно только охотой да слесарным ремеслом в богато и удобно обставленной дворцовой мастерской слесаря Гамэна. Всемогущая королева рада, что муж, забавляясь выделкой ключей, не мешает ее забавам и мотовству. Вместе с королевой у власти распутная госпожа Полиньяк, пожираемая сифилисом принцесса Ламбаль, никчемные фаворитки, выродившиеся аристократы вроде Лозена, Эстергази и кардинала Рогана. Налоги и займы, падавшие наибольшей тяжестью на третье сословие, вызывают постоянные возмущения. Крупная буржуазия, быстро богатеющая, не хочет больше мириться с бесправием. Подмечая все эти симптомы, госпожа Ролан неоднократно приходила к мысли, что только просвещенные люди, подобные Ролану, значит и ей и тому обществу, в котором она вращалась, смогут принести Франции порядок и благоденствие. Впрочем, как это должно произойти, Манон не обдумывала, но удовлетворенно ловила слухи и рассказы о нараставшем недовольстве в Париже, надеясь, что оно обеспечит осуществление ее заветных, скрывааемых мечтаний.

В Амьене у госпожи Ролан родилась дочка Евдора, но «обязанности матери», как и «обязанности жены», Манон определяла для себя, руководясь не чувством, а умом. Хозяйство, материнство, приемы, которые так любила устраивать госпожа Ролан, поглощали у нее большую часть времени; впрочем, вспоминая об этой поре, она добавляет, что успевала, конечно, заниматься ботаникой и естествознанием.

В 1789 году, к началу революции, Ролан был генеральным инспектором мануфактур и фабрик в Лионе. Госпожа Ролан, довольная служебным повышением мужа, чувствовала себя почти удовлетворенной, имея хорошо меблированную квартиру, слуг, отличного повара, как у всех «богатых людей». Однако революция всколыхнула Ролана и его деятельную супругу. Госпожа Ролан восстановила в памяти увлекательные подробности переворотов древнего Рима и Греции, перечла Плутарха, с энтузиазмом цитировала вновь Вольтера и Руссо, приказала прислуге называть себя «гражданкой». В обществе мало развитых, хоть и богатых, фабрикантов, купцов и их жен, в большинстве полуграмотных и невежественных женщин, госпожа Ролан смелостью своих речей вызвала сначала большое недоумение. Ролан также пытался излагать прежние теории, но перешагнул теперь через Англию к Америке, законы и свобода которой казались ему достойными примерами для Франции. Его туманные рассуждения в кругу лионской буржуазии, еще не осознавшей своих желаний и требований, породили ему в первое время немало врагов. Подмечая враждебность, окружавшую в Лионе либеральствующую чету, госпожа Ролан пишет об этом одному из своих друзей, парижскому врачу Лантенасу: «...Мы - изгнанники, против которых разгорелась невероятная ярость. Блот накануне своего отъезда на последнем заседании совета очень старался получить место, чтобы не сидеть рядом с господином де Платиер. Даже у его жены вырвалось словечко по моему адресу, будто муж ее испортил себе репутацию из-за своего общения с моим мужем. В первую минуту я задрожала от гнева, но скоро усмехнулась от жалости... Жалкие скоты, пугающиеся криков, которым становится страшно от угроз, для них мало спрятаться, им нужно еще отречься от единственного человека, достаточно смелого, чтобы выступить... Мы, однако, не откажемся от нашего метода, этот рев не доходит до меня, он вне моей сферы. Пусть покинут моего друга, он будет не один, я остаюсь с ним, а это чего-нибудь да стоит...»

Поведение госпожи Ролан действительно раздражало лионское буржуазное общество. Мужчины осуждали пафос и тон превосходства, усвоенный издавна Манон, женщины не прощали миловидной и очень заботящейся о своей внешности госпоже Ролан заносчивости «ученой умницы». Госпоже Ролан недоставало такта, скромности и простоты даже тогда, когда она нарочно старалась казаться демократкой.

Уже в Лионе окружающие посмеивались над Роланом, узнавая в его речах мысли жены. Манон, впрочем, никогда сама не подчеркивала своего влияния на мужа. Спустя несколько лет она будет писать по этому поводу: «О боже мой, какую скверную службу сослужили мне те, которые приподняли покрывало, под которым я предпочитала оставаться. В продолжение двенадцати лет моей жизни я работала вместе с моим мужем так же, как и ела с ним, обе вещи казались мне одинаково естественными. Когда приводили какое-нибудь место из его работы, в котором находили больше стилистических прелестей, чем в других, когда хвалили какую-нибудь остроумную мысль, то я никогда не думала о том, что я их автор. Когда дело шло о том, чтобы высказать в министерстве крупную, резкую истину, я вкладывала в это всю свою душу; само собой разумеется, что у меня это выходило лучше, чем это удалось бы какому-нибудь кропотливому секретарю. Я любила свою страну, я поклонялась свободе, и никакие интересы, никакие страсти не могли во мне сравниться по силе с этой страстью: моя речь была ясна и патетична, так как это была речь от всего сердца. Важность предмета так захватывала меня, что я забывала о самой себе».

Передовые взгляды и главным образом служение деловым интересам лионских буржуа обеспечили инспектору мануфактур выбор в Учредительное собрание. Вскоре после возвращения Ролана из Парижа в Лион Учредительное собрание одним из декретов уничтожило должности генеральных инспекторов, и Ролан оказался без работы; впрочем, долголетняя служба давала ему право на приличную пенсию. Необходимость хлопотать о пенсии помогла Манон, не допускавшей мысли об уходе Ролана «на покой», настоять на поездке в Париж; ей удалось добыть мужу почетное поручение в Национальное собрание. Старый Ролан, трясаясь в дилижансе по пути в Париж, не раз вздыхал при воспоминании о тишине своего имения, где мог бы благодушно доживать старость. Не то думала Манон, и ее энергичный голос, прерывая дремоту утомленного мужа, возвращал его к действительности. Манон с воодушевлением поучала старика, давая ряд советов, и указаний. Лишь революция могла осуществить ее честолюбивые замыслы, дать выход накопленной ею энергии, стремлению к первенству, и Ролан, прислушиваясь к речам Манон, понимал, что она не простила бы ему обманутых надежд. Зимой 1791 года Роланы въехали в Париж и остановились в отеле «Британик». Немедля Манон приступает к осуществлению своих планов. Она твердо решает навсегда обосноваться в Париже, где

только и возможно, по ее мнению, принять участие в «большой политике», вмешаться в ход событий и передать свое имя истории. Манон присматривается к происходящему, с удовольствием отмечая, что восходящим светилом является жирондист Бриссо, с которым она состояла в давнишней переписке, хоть и не была лично знакома.

Одетая продуманно просто, гражданка Ролан отправляется на заседание Национального собрания, где просит представить ей Бриссо. Жена друга, знакомая по письмам, часть которых как образчик патриотизма Бриссо опубликовал в своей газете «Французский патриот», производит на наблюдательного и умного политика наилучшее впечатление. Бриссо принимает ее несмелые приглашения и, не раздумывая, обещает привести своих друзей.

Манон не стремится к славе «какой-нибудь сомнительной агитаторши из Пале-Рояля». Имена Теруань де Мерикур, Клер Лакомб, Олимпии Гуж, которыми гордится в те годы плебейский Париж, вызывают лишь презрение госпожи Ролан. Она свысока готова признать, что гражданка Теруань не лишена красноречия, и что Клер Лакомб с энтузиазмом борется за права женщин, и что Олимпия Гуж неплохая публицистка, но «прошлое» этих женщин все-таки остается в глазах Манон позорным; к тому же Олимпия незаконнорожденная, и парижане знают, что она по безграмотности принуждена диктовать свои зажигательные статьи секретарю. Манон Ролан не хотела идти путями трех «героинь предместий», их лавры ей не были нужны. Она не компрометирует себя связью с женскими клубами, которые становятся союзниками крайних левых. Неизменными образцами для гражданки Ролан могли быть, конечно, только знатные афинянки и римлянки, вокруг которых собирались философы, мудрецы, правители. Имея все достоинства прекрасной Аспазии - подруги и жены Перикла, - госпожа Ролан считала, что обладает в то же время свободолобием и волей спартанки. Создание влиятельного салона, где собирались бы все наиболее могущественные революционеры, - вот что было задачей Манон. Прельщенный грацией и красноречием молодожавой жены Ролана, Бриссо решил помочь ей в этом. Салон к тому же был нужен будущим жирондистам: он облегчал им более тесный сговор, помогал сплотиться. Приняв приглашение Манон, Жан-Пьер Бриссо привел в убранную цветами, книгами, изящными безделушками квартиру Роланов самых значительных руководителей партии Жиронды: упитанного, самонадеянного Петиона, стесняющегося,

бледного Бюзо и говорливого Верньо, тонкого ценителя женской красоты и театра. Пришел и зачастил мало чем замечательный Боск, впоследствии один из наиболее верных друзей Манон, появились также Клавьер, Антуан.

У этих людей были трудолюбивые жены, равнодушные к политике, занятые детьми, хозяйством, домашними дрязгами и заботами; мужья тяготились их умственной посредственностью, и возможность бывать в гостеприимном салоне госпожи Ролан, естественно, привлекала их. Хотя посещения относились будто бы только к самому Ролану, Манон отлично понимала, что стоит ей перестать появляться в маленькой приемной, и кое-кто из этих многоречивых политиков не придет уж больше в отель «Британик».

Долго и упорно Манон добивалась знакомства с якобинцем Робеспьером, в котором учуяла большого политического деятеля. Однако Робеспьер уклонялся от встреч, не чувствуя симпатии к Ролану и доверия к Бриссо. Робеспьер нелегко согласился прийти, но впоследствии бывал у Роланов. Его привлекала возможность быть в курсе последних событий.

Влияние жирондистов на судьбы Франции в конце 1791 и в начале 1792 года было значительным. Результаты выборов в законодательное собрание создали для них благоприятнейшую расстановку сил в собрании. Сторонники Бриссо - Ролана заняли первые посты в важнейших департаментах и муниципальных управлениях. Петиона, горячего приверженца госпожи Ролан, избрали мэром Парижа 14 ноября 1791 года вместо Лафайета, слава которого поблекла. Даже в якобинском клубе жирондисты чувствовали себя хозяевами.

Осень 1791 года Манон проводит в своем имении, откуда посылает Максимилиану Робеспьеру полное лести письмо, в котором есть такие строки: «В недрах столицы, очага стольких страстей, где ваш патриотизм вступил на столь же затруднительный, сколь почетный путь, вы, милостивый государь, не без интереса получите из глубочайшего одиночества написанное свободной рукой послание, продиктованное чувством уважения и удовольствия, которое испытывают люди чести при обмене мнений между собой. И если бы даже я познакомилась с ходом революции и с шагами законодательного учреждения только из газет, то я все же выделила бы маленькое число смелых мужей, постоянно остававшихся верными принципам, и из числа этих мужей - вас, чья энергия никогда не переставала оказывать величайшее сопротивление

взглядам, козням деспотизма и интриге. В моем уединении я с радостью буду знакомиться с продолжением ваших успехов; итак, я призываю вас к работе ради справедливости, так как обнаружение истины, касающейся общественного блага, - всегда успех в добром деле. Если бы я предполагала только сообщить вам что-либо, то у меня не появилась бы мысль вам написать, но, не сообщив вам ничего особенного, я думала о том интересе, с которым вы услышите о двух людях, душа которых создана, чтобы понять вас, и которые желают выразить вам уважение, оказываемое ими лишь немногим людям, и привязанность, посвящаемую ими только тем, кто ставит выше всего славу быть справедливым, быть чутким».

Возвратившись в Париж, Манон застала своих друзей в безмятежном предвкушении власти, даже осторожный Бриссо считал, что политическая игра им выиграна. Под влиянием этого госпожа Ролан восторженно шла навстречу будущему. Скоро, думалось ей, не только набережная Часов, но и весь Париж заговорит о жене Ролана и друге великих деятелей революции.

Участившиеся в эту пору «приемы» в отеле «Британии» госпожа Ролан подробно списала сама: «Я жила в роскошном помещении, в хорошем квартале. Создалось такое обыкновение, что депутаты, собиравшиеся для совместного обсуждения различных вопросов, являлись ко мне два раза в неделю после заседания в Собрании и перед заседанием в клубе якобинцев. Я работала или писала, в то время как они рассуждали. Я предпочитала писать, потому что тогда казалось, что я совсем далека от их разговора, и в то же время я могла прекрасно вслушиваться в него. Я могу делать одновременно несколько дел и так привыкла писать письма, что это не мешало мне слушать разговор о чем-нибудь, совершенно отличным от содержания моего письма. Мне кажется, что во мне две личности. Я могу разделить свое внимание, как материальный предмет, пополам и управлять обеими половинами, как будто я отдельное от них существо. Я помню, как однажды, когда эти господа оказались о чем-то различного мнения и спор их сделался очень шумным, Клавьер, заметив, с какой быстротой я пишу, довольно остроумно заметил, что только женщина способна на это и что все же ему это кажется удивительным. «Что же бы вы сказали, - улыбаясь, спросила я его, - если бы я слово в слово повторила вам те доводы, которые вы только что приводили?» Кроме обычных приветствий при появлении и перед уходом этих господ, я никогда не позволяла себе произносить ни одного слова, хотя часто мне приходилось сжимать

губы, чтобы удержаться. Если кто-нибудь заговаривал со мною, то это бывало уже тогда, когда начинали расходиться и все вопросы были уже решены. Кроме графина с додслащенной водой, никаких напитков у меня не подавалось. Поведение Робеспьера на этих происходивших у меня собраниях было замечательным; он мало говорил, часто посмеивался, бросал несколько саркастических фраз, никогда не высказывал своего мнения».

Самым счастливым, таким долгожданным днем в жизни Манон было 21 марта 1792 года. Под вечер прозвучал резкий звонок у входной двери, и перед Роланом и его женой появились Дюмурье и Бриссо. «Вы назначены министром», - скороговоркой пробормотал Дюмурье. Бриссо, ожидая выражения благодарности, теребил, улыбаясь, широкополую шляпу, Ролан хотя и знал об этом назначении и дал уже свое согласие, однако беспомощно и вопросительно посмотрел на жену, которая заметно напрягала волю, чтоб сдержать восторженный возглас. Хитрый Дюмурье, подкупленный двором, лицемер и предатель, показался Манон в эту минуту лучшим другом: ведь он был вестником удачи. Впрочем, Не только Манон, но и Бриссо и вся жирондистская пресса перевозносили тогда Дюмурье, назначенного министром короля за несколько дней до Ролана, Клавьера и Дюрантона.

Радость Манон была приговором Ролану: об отказе от назначения (о чем он втихомолку мечтал) нечего было и думать.

Вот что пишет госпожа Ролан в мемуарах об этом событии: «Когда Ролан в первый раз явился ко двору в своем обычном одеянии, которое он давно носил из удобства, со своими редкими, просто зачесанными волосами, в круглой шляпе и башмаках, завязанных лентами, придворные лакеи, придававшие главное значение этикету, - в нем заключался весь смысл их существования, - смотрели на него с возмущением, даже с некоторого рода ужасом. Один из них приблизился к Дюмурье и, наморщив лоб, шепнул ему на ухо, указывая на предмет своего смущения: «Ваша милость: без пряжек на башмаках». Дюмурье с комической серьезностью воскликнул: «Ваша милость, все погибло». Эти слова сейчас стали известны и заставили смеяться тех, кто менее всего был расположен к этому. Сам Людовик XVI, несмотря на несоответствующую этикету внешность, принял своего нового министра весьма радушно».

Вскоре Манон занялась переездом в редкий по богатству и пышности дворец министерства внутренних дел, где полагалось



жить министру. Подгоняемая тщеславием, поднималась Манон по мраморным ступеням лестниц, проходила по пустым, слишком большим и глухим залам, запрокидывая голову, разглядывала фрески и лепных амуров на потолках и стенах, трогала и гладила холодные колонны, любовалась собой в зеркалах, прижатых золотыми рамами, и слушала звон хрустальной бахромы венецианских люстр, которые вечерами, при свете свечей, казались разноцветными. В своих мемуарах госпожа Ролан не будет описывать ни прекрасного дворца, ни того удовлетворения, которое она, несмотря на свои «демократические вкусы», испытала, поселившись в нем. У нее хватило такта, чтобы не казаться смешной, тем более что набережная Часов была недалеко, да и роль знатной дамы сулила только преследования и издевательства. Манон Ролан и во дворце стремилась остаться все той же «благородной супругой добродетельного Ролана».

«Французский патриот» пером Бриссо после бегства короля в июне 1791 года из Парижа громогласно потребовал республики, и Манон, читавшая газету Бриссо ежедневно, спешит в своем салоне провозгласить патетический тост за друзей-республиканцев. Под ее влиянием Ролан соглашается издавать совместно с Кондорсе газету «Республиканец, или защитник представительного правления», в которой агитирует за провозглашение республики. В предсмертных мемуарах Манон, чванясь своим республиканизмом, обвинит Робеспьера в том, что он не хотел низвержения монархии и после бегства короля в Варенн спросил насмешливо Петиона и Бриссо: «А что такое - республика?» Манон Ролан умалчивает о догадках, возникших тогда же у Бриссо о том, что Робеспьер высказывается против республики «только из-за тайного расчета». В 1791 году утверждение власти крупной буржуазии, представителями которой были жирондисты, внушало серьезные опасения Робеспьеру, боявшемуся, чтобы республика, созданная ими, не обеспечила бы Жиронде слишком большого господства в стране. Департаменты получили бы тогда самостоятельность, Париж потерял бы свое решающее значение для федеративной Франции, и сенат - старая мечта американофила Бриссо - стал бы оплотом борьбы с подлинными демократами и крайними революционерами. Время для провозглашения республики, как думал Робеспьер, еще не настало. Он не ошибался, разглядев сквозь завесу фраз и демонологии истинные стремления жирондистов. Очень скоро бриссотинцы открыли карты; поняв, что республика сможет оказаться полезной

не только для крупной торговой и промышленной буржуазии, они умерили настойчивые домогательства свержения короля.

Два раза в неделю за обеденным столом министра Ролана появляются приглашенные. Только иногда Манон допускает и женщин; тогда это - госпожа Петион, отвечающая невпадом, и тучная госпожа Бриссо, деятельная мать многочисленных детей. Именно госпожа Петион и госпожа Бриссо обостренным женским нюхом учуяли первые, что особой симпатией Манон дарит видного жирондистского депутата Бюзо. Нервный, подвижный, сентиментальный, демагог по натуре, он привлекал ее полной противоположностью Ролану. Вот характерные отрывки из автобиографии Бюзо, где он пытается обосновать свое мировоззрение:

«От природы одаренный независимым характером и мужеством, не позволявшими подчиняться чьему бы то ни было приказу, как мог я примириться с мыслью о наследственном короле и непогрешимом человеке? Мой ум и сердце были полны историей Греции, Рима и тех знаменитых людей, которые в этих древних республиках более всего любили человеческий род; я с раннего детства проникся их принципами, Я был поглощен изучением их добродетелей». «...Никогда распутство не запятнало моей души своим нечистым дыханием, кутежи всегда внушали мне отвращение, и вплоть до моего нынешнего зрелого возраста бесстыдная речь никогда не загрязняла моих губ». «С таким характером и такими склонностями я сделался участником революции и Учредительного собрания».

«Я пользовался всеобщим признанием и почетом, но скоро я узнал, что не все в своей деятельности отрешаются от соображений личного интереса. Я снова замкнулся в себе и только к концу опять выступил; я сделал это тогда, когда заметил, что число истинных патриотов необычайно уменьшилось и, может быть, уменьшится еще, если я буду долее хранить молчание. Я был горячим противником королевской власти, особенно после бегства короля. Когда заседания Учредительного собрания пришли к концу, я вернулся в Эврэ, где делал все, что было в моих силах». Так Бюзо пытался изображать из себя подлинного патриота и республиканца. Фактически это был честолюбивый славолюбец и фразер.

Запоздалая первая любовь, любовь к Бюзо, ворвалась в размеренную жизнь Роланов, неся всем огорчение и муку. Надуманно усложненные принципы Манон и большие требования,

которые она предъявляла к себе, не позволяли ей согласиться на измену мужу. «Сестра Гракхов», жена «героя» не могла идти по стопам тех, кого так язвительно сама высмеивала. Наставлять рога мужу было достойно женщин старой знати, какой-нибудь Марии-Антуанетты и ее фавориток, но уж никак не «королевы Жиронды», - так всё чаще называли жену Ролана.

Тщательно проследив и проанализировав свои чувства, Манон посвятила во все добреющего с годами Ролана, который покорно изображал государственного мужа, не имея других желаний, кроме желаний жены. Признания Манон потрясли доселе уверенного в жене супруга. Бюзо был молод, любил и был любим. Легко доступный развод не мог стать препятствием для сближения. Но Манон не признавала для себя «легкого пути», она осталась с Роланом, обещая, что любовь к Бюзо будет «чистой». Госпожа Ролан продолжает встречи и переписку с «возлюбленным Бюзо», благодаря которому может зорко следить за политической игрой жирондистов и влиять на решения Конвента. Ленивый Бюзо, уступая непреклонной воле Манон, участвует в работе Конвента, вербуя сторонников бриссотинцам, и истерическая вспыльчивость его превращается в полезное орудие политической борьбы. Бюзо предан и послушен Маноя, как Ролан, и она платит ему за это рассудочной любовью и ловкими похвалами в своем салоне. Госпоже Ролан принадлежат нижеследующие строки о Бюзо:

«Природа наделила его любвеобильной душой. Его чувствительность заставляла его предпочитать тихую, уединенную, добродетельную жизнь; сюда присоединялась склонность к меланхолии как результат сердечных огорчений. Обстоятельства ввергли его в поток политической жизни».

Вмешательство Манон в дела мужа и Бюзо и ее часто вредное влияние не могли укрыться от парижан. Пока партийная борьба не обострилась, это вызывало только насмешки, но когда внутренние распри усилились, имя Манон все чаще стало произноситься вперемежку с руганью, как имена аристократок старого режима. Слишком часто на государственные дела Франции опасно влияли женщины; жестокая любовница Людовика XV Помпадур, мотовка Дюбарри, «австриячка» - королева и ее подруги были еще чересчур болезненно памятны народу.

Манон, нигде не отстаивающая открыто своих взглядов, почти незримая, но плетущая пропитанное ядом кружево закулисных

интриг, становилась врагом революционных предместий, ненавистным даже больше, нежели старик Ролан.

Великолепная речь Робеспьера в Конvente сдернула покровы, прикрывавшие сложную политическую затею жирондистов, стремившихся войной укрепить свою мощь, отвлечь бедняцкие слои от крайних революционеров, сократить вербовкой в армию безработицу, расширить торгово-политическое влияние Франции. Робеспьер говорил:

«Я тоже требую войны, однако под условием, относительно которого мы несомненно все согласны, ибо я не хочу думать, что сторонники войны намерены нас обмануть. Итак, я требую войны не на живот, а на смерть, героической войны, такой войны, какую свобода объявляет деспотизму, такой войны, которую умеет вести сам революционный народ во главе с собственными вождями, а не такой войны, какой хотят интриганы...

Но где же у нас генерал, непоколебимый защитник народных прав, прирожденный враг тиранов, который никогда не вдыхал бы отравленного придворного воздуха?.. Или мы, готовясь ниспровергать троны, должны выжидать, когда-то прикажет нам военное министерство, должны ждать, когда-то двор подаст нам знак? Патриции, эти вечные любимцы деспотизма, должны вести нас на войну, которая направлена против аристократов и королей? Нет! Мы хотим одни вступить в борьбу, мы хотим сами повести себя. Сторонники войны с этим, однако, не согласны. Вот господин Бриссо, - он заявляет, что всем делом должен руководить господин граф де Нарбонн, что только под командой господина маркиза де Лафайета можно предпринять поход и что единственно исполнительной власти принадлежит право вести нацию к победе и свободе...

Тот способ, каким господин Бриссо и его друзья проповедуют нам доверие к исполнительной власти, то, как они стараются об общественном благорасположении к генералам, доказывает только одно: революция отняла у них уверенность, бдительность и энергию».

Война с Австрией была объявлена правительством 20 апреля 1792 года: французский народ решительно выступил на защиту своих демократических завоеваний. Вся тяжесть военных лишений легла на плечи трудящихся. Росла дороговизна, все сильнее сказывалась нехватка продуктов, росло недовольство беднейших слоев населения, до предела обострялась борьба классов.

Назревали решительные события. И вот в ночь с 9 на 10 августа над Парижем загудели колокола. В ответ на колокольный звон в районных секциях стал собираться народ. Вооруженные отряды двинулись к Тюильри. Комиссары секции провозгласили себя «Революционной коммуной» и возглавили движение масс. У дворца короля завязался бой между восставшим народом и отрядом наемных швейцарцев. Революционная коммуна возглавила восстание и привела его к победе. Члены коммуны в Законодательном собрании от имени победившего народа продиктовали свою волю - Людовик XVI лишился трона. Коммуна своей властью арестовала его и заключила в замок Тампль. Старые министры короля были уволены, и собрание назначило новое министерство (Временный исполнительный совет).

В своем большинстве совет состоял из жирондистов. Туда входят Ролан, Монж, Клавьер, Серван, Лебрен, из монтаньяров в его состав был введен лишь один Дантон. Второй прыжок к власти уже не принес Манон былой радости: Ролан является мишенью нападков слева. Она плачет от бессилия, услышав слова Дантона о Ролане: «Франции нужны министры, которые не смотрели бы на все глазами своей жены» - глазами Манон. Ничто не могло бы оскорбить ее больше. Много ли у Франции таких восторженных, наблюдательных, таких умных глаз! Конечно, эти заносчивые господа не в состоянии ее понять! Манон утешается размышлениями о ничтожестве окружающих: «Ограниченность, - не раз восклицает она презрительно, - превосходит все, что можно себе представить. И это на всех ступенях общества, начиная с приказчика и кончая министром, военным, которому приходится командовать армиями, посланником, созданным для роли торговца». Только трое: муж, возлюбленный Бюзо и Бриссо, мысли которого повторяет, считая своими, Манон, только трое пользуются ее уважением. Но эти трое не в силах оградить Манон от насмешек, от презрительных выпадов, и госпожа Ролан, сжигаемая жаждой мести и власти, решает действовать. Она больше не хочет, считает даже преступным молчать, занимаясь «женскими делами» за своим столиком во время мужского спора; она решительно вмешивается отныне в разговоры, разжигает партийные страсти, требует от друзей действенной энергии, следит за каждым шагом Конвента, внушает и репетирует с Бюзо его речи, дает формулировки Бриссо для «Французского патриота». Госпожа Ролан борется как может за влияние и мощь Жиронды. Монархисты ей пока чужды.

В сентябре 1792 года Париж был потрясен известием о сдаче Вердена. Коммуна приступила к набору армии. Снова загудел набат, выбивали дробь барабаны. Революционная коммуна призывала: «К оружию! Враг у порога!»

В то же время по Парижу поползли слухи о заговоре контрреволюционеров, заключенных в тюрьмах, об ударе, который они нанесут, когда парижане уйдут на фронт. В порыве негодования народ и добровольцы бросились к парижским тюрьмам и казнили контрреволюционеров.

Позднее жирондисты сочинили легенду о «сентябрьских убийствах», обвиняя в них якобинцев и многократно преувеличивая число казненных, но в сентябрьские дни не только якобинцы, но и жирондисты не могли обвинять народ: стихийная месть народа была проявлением самозащиты революции против подготовлявшегося мятежа контрреволюционеров.

Тогдашняя жирондистская пресса вполне отражает настроения госпожи Ролан, а эта пресса нисколько не возмущается кровавыми событиями в тюрьме, где пострадали аристократы и духовенство - союзники наступающих армий монархической коалиции.

3 сентября, когда в монастыре Сен-Жермен де Пре, то охая, то ругаясь, тюремщики смывают кровь с пола и подбирают последние трупы, чтобы угрюмо бросить их на дроги, Манон в последний раз осмотрит в большом трюмо свой туалет. Она заколет с умелой небрежностью косынку поверх светлого платья, разовьет локон над ухом, поправит фижму, слегка набелит подбородок и лоб, оттеняя легкий слой румян. Ей уже 38 лет, но годы не портят ни лица, ни чуть полной, гибкой фигуры. Осмотрев себя со всех сторон, чуть напевая, госпожа Ролан пойдет к своей дочери Евдоре, погладит ее по волосам, не нагибаясь, чтобы не испортить линию корсажа, скажет несколько поучительных слов смущенной гувернантке, быстро пройдет, вдыхая запах духов, в большую столовую, где скромно, но красиво убран стол. В этот день Роланы дают большой обед. Поздно вечером, когда гости разойдутся, Манон, долго раздеваясь, будет с удовольствием вспоминать «удавшийся» прием, оживленные разговоры, шутки, смех, каких не было уже так давно в эту все более тревожную пору. О народной расправе с аристократами, происшедшей накануне, Манон, быть может, вспомнит мельком, повторяя слова своих друзей, что пролилась кровь «негодяев».

Ненависть к королю, которую так любила подчеркивать госпожа Ролан, ко времени суда над ним значительно ослабевает, и смерть Людовика XVI даже огорчит «неистовую республиканку». Один из ее друзей, контрреволюционер Лафатер, из укрывшей его Швейцарии в начале 1793 года прислал Манон письмо, вполне совпадающее с ее настроениями.

«Только что получил ваше письмо, моя добрая Ролан, ваш портрет и много печатных произведений, которое я буду читать при первой возможности. Спешу сообщить вам, что все люди чести восхищаются вашим славным мужем и гнушаются интригами и коварством против него. Душа моя несказанно уязвлена смертью короля. Я не осмеливаюсь и не могу выразить мою горечь и мои опасения. О мой добрый друг, свобода, которую вы хотите обрести путем самого холодного и самого вычурного деспотизма, ускользает от вас, и стократное несчастье падает на головы тех, которые так злоупотребляют как предрассудками, так и несдержанностью народа. Придите к нам, если Франция, которая недостойна вас, вас отвергает».

В это время нападки прогрессивной прессы на жирондистов усилились. Газета «Отец Дюшен» не щадила при этом и чету Роланов. «Несколько дней тому назад, - возвещала в одной из своих статей газета, - депутация... из полдюжины санкюлотов явилась к этой старой развалине (рогоносцу Ролану); к несчастью, они попали туда во время обеда. «Чего вы хотите?» - спросил у них швейцар, остановив их в дверях. «Мы желаем поговорить с добродетельным Роланом». - «Здесь совсем нет добродетельных», - отвечал толстый страж, очень упитанный, хорошо выбритый, протягивая руку за взяткой.

Наши санкюлоты прошли по коридору и вошли в прихожую добродетельного Ролана. Они никак не могли протолкаться сквозь толпу слуг, наполнявших ее.

Двадцать поваров, нагруженных самыми изысканными фрикасе, кричали во все горло: «Пропустите, пропустите, дайте дорогу: это соуса добродетельного Ролана»; другие кричали: «Дорогу жарким добродетельного Ролана»; еще другие: «Пропустите закуски добродетельного Ролана»; другие еще: «Вот пирожные добродетельного Ролана». «Чего вам надо?» - спросил у депутации лакей добродетельного Ролана. - «Мы хотим поговорить с добродетельным Роланом».

Лакей идет сообщить эту новость добродетельному Ролану, который появляется нахмуренный, с полным ртом и салфеткой в руках. «Наверное республика в опасности, - говорит он, - что вы побеспокоили меня во время обеда». Ролан провел гостей в свой кабинет: он помещался рядом со столовой, где находилось более тридцати блюдолизов.

На почетном месте, справа от добродетельного Ролана, сидел Бассатие, а слева маленький Луве, со своей картинной физиономией и впалыми глазами, с вожделием смотрел на супругу добродетельного Ролана. Один из членов депутации хотел пройти по темной лакейской и уронил десерт добродетельного Ролана. Узнав о гибели десерта, жена добродетельного Ролана в гневе сорвала с головы свои фальшивые волосы».

Как относилась Манон к доносившимся до нее злобным отзывам парижского «простонародья»? Верная служанка Роланов не раз плакала, возвращаясь с базара, где торговки насмеялись над ее господами. Но Манон, выслушивая пересказы, только поджимала сухие, недобрые губы, охваченная презрением к невежественной «черни», не заслуживающей «свободы». Особенно изумляла госпожу Ролан нечуткость народа, осуждавшего ее «вечера», на которых хозяйка салона, отрывая розы от атласного корсажа, бросала лепестки в бокалы гостей жестом, достойным римской патрицианки.

В том же смутном 1793 году Ролан ушел в отставку. Борьба в Конвенте между Жирондой и якобинцами неудержимо разгоралась; заседания Конвента становились бурными. Все, в чем были виновны бриссотинцы с давних пор перед французской революцией, с особой ожесточенностью им припоминалось. Трусость во время расстрела на Марсовом поле, двусмысленные переговоры со двором и участие в интригах короля, предательство генералов, ставленников Жиронды, колебания во время процесса Людовика - все это выставлялось как пункты обвинительного акта. Жирондисты не оставались в долгу, изрыгая убийственную клевету на Гору, ведя остервенелую агитацию в газетах и клубах. Они не только оборонялись, они активно нападали.

Непопулярность жирондистов проявлялась в Париже на каждом шагу: в секциях, на окраинах, в Конвенте. Тщетно педантичный Ролан в течение четырех месяцев восемь раз обращался с требованием рассмотрения его отчета - ему не давали слова.

Манон, оставившая пленительный министерский дворец, опять очутилась в скромной квартирке, напоминавшей ей отель

«Британик», но как непохоже было теперь все вокруг на безмятежное недавнее прошлое. Госпожа Ролан не обманывала себя и, видя, насколько далеко зашли разногласия, понимала, какой грозный и решающий бой ждет ее партию. Ее малолюдным теперь салон превращается в руководящий штаб жирондистов. Лишь когда отчетливо обрисовались контуры грядущего поражения и надвинулся разгром, госпожа Ролан принялась за организацию отступления и ухода в подполье. Неумолимо она хлопочет об убежище на случай надобности для друзей и о разрешении на выезд в свое имение для мужа и дочери. Неожиданная болезнь - несчастливая помеха - обрывает ее приготовления.

В Конвенте весной 1793 года партийная борьба была уже накануне развязки. Отклонение жирондистами прогрессивного подоходного налога вызывает волнение и ярость против них в рядах мелкой буржуазии и рабочих, но, не считаясь с волей масс, жирондисты продолжают выступать также и против «максимума» - предельной цены на хлеб, которой добивается голодный парижский люд во главе с Горой. Бедняк - творец революции, участник кровавых восстаний, отдавший детей на войну с Австрией и Пруссией, не ощутивший все еще облегчения от им созданного политического строя, - обрекался жирондистами, защищавшими свободу торговли, на голод. Это превосходило терпение народа: слово «бриссотинец» звучало как «предатель».

Но, невзирая на ропот народа и растущую свою непопулярность, жирондисты 2 мая 1793 года опять пробуют выступать, надеясь на поддержку провинций, против большинства Конвента, утвердившего принудительный заем для борьбы с контрреволюцией в Вандее. Они возражают против выдачи пособий семьям солдат и образования запасов муки. Распределялся заем среди парижан, имевших доход более 1000 ливров, что наиболее раздражало жирондистов и объявлялось ими актом «несправедливости» по отношению к зажиточному населению. Эта последняя «ошибка», то есть верность классу, которому служили жирондисты, была ближайшей причиной их низложения.

Накануне разгрома Манон заболела. Ее посещали немногие, в числе которых Бюзо, все более близкий и любимый. Несмотря на волнения и гнетущие предчувствия надвигающейся катастрофы, Манон охвачена неудержимым любовным порывом к тому, кто мог бы стать ее любовником. «Было бы приятно, - пишет Манон, отвлекаясь от суровой действительности, - если бы такое

расположение совпало с долгом: не дать погибнуть бесполезно тому, что еще осталось. С каждым днем становится труднее владеть своим сердцем и употреблять атлетические усилия для того, чтобы защитить свой зрелый возраст от бури страстей». Она напрасно боялась за слабование и податливость своих тридцати восьми лет. Эпоха, в которую она жила, ворвалась в ее жизнь и определила ее будущее. 31 мая ушли с исторической сцены жирондисты и с ними их «королева».

В день восстания парижского народа против бриссотинцев Манон, впервые после долгого времени, проснулась утром, чувствуя себя выздоровевшей. Главной заботой ее было устроить отъезд семьи в глушь, казавшуюся, по контрасту с бурным Парижем, обетованным уголком, сулящим покой и счастье. Но едва Манон оделась, допила кофе, привела в порядок бумаги и безделушки в спальне и в гостиной, как прислуга вбежала, чтобы предупредить госпожу об уличных толках и откровенных угрозах, раздававшихся с особой настойчивостью по адресу «рогоносца Ролана» и бриссотинцев.

Дальнейшее надвинулось с неотвратимой быстротой. Где-то вдали раздался набат, потом прогудели сигнальные пушки. Точно так начинались все великие «праздники» революции, в которых раньше участвовала с энтузиазмом и Манон. Подобрав юбку обеими руками, как для менуэта, Манон бросилась к окну, зная наперед, что увидит сейчас, как по узким улицам пестрой лентой пронесутся мгновенно вылезшие из домов, лавок, подворотен люди. Торговки, фруктощицы, подняв руки, будут потрясать корзинами, бессвязно выкрикивая ругательства; мужчины, женщины, дети, опрокидывая сорные ящики, скамейки, встречных, побегут в свои секции, в Парижскую коммуну, к Конвенту, сжимая кулаки, заражаясь друг от друга жаждой мести, готовые немедленно к бою с врагом. Вся дрожь, Манон ловила угрожающие восклицания толпы, все еще гоня от себя страшное предположение. Уловив имена своих друзей, она, ослабев, ушла от окна, теряя последние обнадеживавшие сомнения. Народ требовал жирондистов к ответу. Когда улица приутихла, кое-кто из друзей пришел к Манон сообщить невеселые новости.

В пятом часу следующего дня в квартиру Манон, стуча саблями и ружьями, пришел патруль с ордером Революционного комитета на арест Ролана. Прочитав приказ, Ролан заявил, что ордер не исходит от законной власти, и отказался идти в тюрьму. Не имея разрешения применять насилие, вооруженные санкюлоты отправились в

общинный совет за дальнейшими указаниями. Едва затихли шаги, Манон, рассчитывая на уцелевшие еще связи, решает отправиться в Конвент, надеясь спасти Ролана от ареста. Дворец Тюильри полон вооруженных людей. В узкий коридор из зала заседания Конвента доносится до Манон, точно грозный рокот морского прилива, гул голосов. Хитростью и ложью Манон добивается вызова Верньо, но этот еще недавно уверенный в себе, неотразимый оратор Жиронды не берется огласить в Конвенте письмо об аресте Ролана, ссылаясь на то, что его не станут слушать. Не видя спасения, Манон бросается домой, чтобы помочь мужу бежать.

Поздно вечером, когда депутация общинного совета вновь пришла арестовать Ролана, он был уже вне дома; на этот раз арестовали Манон. С полночи до семи часов утра тянулась томительная процедура обыска и опечатывания вещей. Попрошавшись с дочерью и слугами, Манон вышла под конвоем из дома. У подъезда до извозчичьей кареты шпалерами вытянулись вооруженные секционеры. Несколько женщин, узнавших Манон, проводили карету криками: «На гильотину!»

В тюрьме Аббатства, куда привозят Манон, вежливый тюремщик предлагает ей ввиду отсутствия свободных мест провести день в одной из комнат его квартиры. Жена его, расторопная и чувствительная женщина, спрашивает арестованную, какой завтрак она желала бы получить. Государство отпускает узникам только порцию бобов и 200 граммов хлеба в день, но оставляет им возможность питаться на свой счет, отчего еда арестованных вполне соответствует их достатку и привычкам. В первый день пребывания в тюрьме утомленная и обеспокоенная Манон просит только «воды с сиропом».

К ночи тюремщик перевел госпожу Ролан в маленькую камеру, под оконцем которой находились часовые, до рассвета нарушавшие сон Манон традиционными «кто идет?», «стреляй, патруль!» Эти крики учащались, и караулы усиливались в напряженно тревожные ночи.

Сумрак и холод тюрьмы угнетают Манон, и, желая сохранить бодрость духа, она пытается сделать камеру похожей на жилую комнату. Большие яркие букеты цветов должны скрасить хмурые, холодные стены, на столе, прикрытом старенькой скатертью, на табуретке, на подоконнике Манон раскладывает книги, безделушки и туалетные принадлежности. Благодаря тюремщику и его жене Манон часто видится с друзьями, оставшимися на свободе, и

переписывается с родными. Наибольшее участие проявляет верный друг Боск, устроивший в преданной Роланам семье их дочь Евдору. Из газет Маьон узнала об аресте двадцати двух жирондистов. В безграничном отчаянии она вскричала: «Отечество мое погибло». Только уверенность в том, что Ролан, Бюзо и другие жирондисты, бежав из Парижа, находятся вне опасности, придавала ей твердость. О себе Манон вначале не беспокоилась и старалась держаться с вызывающим «спокойствием невинности».

Уверенная в скором освобождении, госпожа Ролан требует от министра юстиции «применения к ней закона», и в ответ 12 июня ее, наконец, допросил полицейский комиссар. Он рассеянно выслушал возмущенные доводы и многословные возражения Манон, не объясняя причины ареста. Во время следующего допроса грубоватый комиссар, которому надоела болтовня этой женщины, потребовал, чтобы она отвечала только «да» или «нет». Ей было заявлено, что тюрьма не министерская квартира, чтобы щеголять «умом». Допрос, продолжавшийся несколько часов, протекал в столь резком тоне, что Манон внезапно поняла, какое наказание ей угрожает. Уходя с допроса, она гневно сказала: «Как мне вас жалко. Я прощаю вам даже вашу грубость. Вы можете послать меня на эшафот, но не можете лишить меня той радости, которую доставляют чистая совесть и убеждение, что потомство отомстит за Ролана и меня, обвинив наших преследователей в подлости».

В той же тюрьме Аббатства Манон Ролан начала писать мемуары, составившие впоследствии четыре тома и изданные тотчас же после падения Робеспьера ее уцелевшими друзьями. В своих записках она старается охарактеризовать деятелей революции, посещавших ее салон, и события минувших лет. Беспристрастность не могла быть доступна узнице, недавно еще бывшей, по ее же выражению, на «троне». Озлобленная гонениями, она ехидно осуждает якобинцев и восхваляет своих единомышленников.

Спустя четыре недели после ареста, 27 июня, Манон была выпущена на свободу, но двумя днями позже снова арестована и посажена в тюрьму Сен-Пелажи. В тюрьме Сен-Пелажи госпожа Ролан живет почти так же, как и в тюрьме Аббатства. Кроме мемуаров и обширной переписки с Бюзо и друзьями, она занята рисованием и чтением; как и прежде, «Герои» Плутарха постоянно лежат на ее столике. Наибольшим огорчением жены «добродетельного Ролана» в Сен-Пелажи было соседство проституток, воровок, фальшивомонетчиц. По утрам, когда

тюремные камеры открывались и страж выпускал визжащих, цинично ругающихся женщин в общий коридор, куда выходили также арестованные мужчины, Манон пряталась в своей камере, оскорбленная «таким обществом» и непристойными словами, которые раздавались вокруг нее. Она не раз обдумывает возможность самоубийства, но оставляет эту мысль, не желая дать «клеветникам мужа новое оружие в руки». В дневнике Манон пишет: «Я возвеличу его славу, если только решатся призвать меня в Революционный трибунал». Постепенно «презренные» соседки перестают так болезненно раздражать Манон. Она находит даже некоторое удовольствие в том, чтобы вести с ними поучительные беседы, вызывающие их недоумение и невольное уважение к «ученой гражданке».

Преданные друзья - Боск, Гранпре, Шампанье - по-прежнему приносили в тюрьму цветы из ботанического сада, письма и газеты. Добрая жена тюремщика, с которой умела ладить Манон, как раньше в тюрьме Аббатства, на день часто приглашала ее в свою светлую квартирку, где на стареньком клавесине узнице разрешалось наигрывать несложные мелодии, выученные в монастыре.

В день казни Бриссо - наиболее жуткий день в жизни госпожи Ролан, когда и для нее умерла надежда, - Манон перевели в тюрьму Консьержери, имевшую страшную славу «прихожей смерти». В Консьержери ее камера была зловонна и темна, как могила. Смерть надвигалась, и Манон всюду чувствовала ее мучительное соседство. Незачем было больше сдерживать обильные слезы горечи и боязни. Тюремщик, свидетель предсмертной дрожи и отчаяния Манон, равнодушно задвигал ежевечерне засов одиночной камеры, в которой по целым дням плакала ослабевшая женщина.

Вызов в Революционный трибунал приближался, допросы участились. Госпоже Ролан предъявили обвинение в сношениях с бежавшими депутатами-жирондистами, объявленными вне закона. Напрягая остаток воли, она старалась казаться сильной. От печали и физического страха перед небытием Манон отрывали только заботы об умелой и красивой защите на суде. Превыше всего эта женщина до последней секунды жизни ценила точеную фразу и выразительную позу. Вот отрывки из речи, которую она подготавливала в ожидании суда:

«Предъявленное мне обвинение основывается исключительно на мнимом соучастии в деяниях тех людей, которых называют

заговорщиками. Мои дружеские отношения с немногими из них не имеют ничего общего с теми политическими событиями, благодаря которым они теперь считаются достойными наказания.

Я не сужу о средствах, к которым прибегали осужденные, я не знаю этих средств, но я ни за что не поверю в злые намерения тех, чью честность и гражданскую доблесть, чью великодушную преданность отечеству я воочию видела. Если они заблуждались, они это делали с искренней верой, они побеждены, но не унижены, они в моих глазах несчастны, но не виноваты. Если я, сохраняя к своим друзьям добрые чувства, виновна, то я объявляю себя таковой перед всем миром. Я не беспокоюсь за их славу и охотно соглашусь разделить с ними честь быть угнетенной их врагами, Я видела этих людей, которых обвиняют в заговоре против отечества. Это были решительные, но гуманные республиканцы, которые были убеждены в том, что нужны хорошие законы для того, чтобы республика ценилась теми, кто сомневается в ее жизнеспособности, а это, право, труднее, чем казнить их. История всех времен доказала, что требуется большой талант для того, чтоб хорошими законами направить людей на путь добродетели... Я слышала, как они утверждали, что достаток и счастье могут проистекать только из справедливой, благотворной и охраняющей граждан государственной конституции, что могущество штыка может только внушить страх, но не может доставить хлеба. Я видела их одухотворенными горячей заботой о благе народа, они гнушались льстить народу и были готовы скорее пасть жертвами его заблуждения, чем обманывать его. Сознаюсь, что эти принципы и это поведение казались мне совершенно непохожими на принципы и поведение тиранов и честолюбцев, которые стараются нравиться народу, чтобы поработить его.

Как друг свободы, ценить которую меня научили размышления, я с восторгом приветствовала революцию, убежденная, что она означает эпоху падения господства произвола, который я ненавижу, эпоху уничтожения злоупотреблений, по поводу которых я так часто вздыхала, тронутая судьбой обездоленных классов. Я с интересом следила за успехами революции, я принимала горячее участие в беседах об общественных делах, но я никогда не выходила из границ, положенных мне моим полом. Кое-какой талант, достаточное философское образование, мужество, которое встречается гораздо реже и которое позволяло мне во время опасности поддерживать мужество моего супруга, - вот то, что,

вероятно, втайне хвалили те, которые меня знают, и что создало мне врагов среди тех, которые меня не знают.

При моем мужестве мне было очень легко избежать следствия, которое я предвидела, но я считала более достойным подвергнуться ему. Я считала себя обязанной перед моим отечеством подать этот пример, я думала, что если меня осудят, то следует предоставить тирании совершить такое ненавистное дело, какова казнь женщины, единственная вина которой состоит в том, что она обладала некоторым талантом, которым она никогда не гордилась, большим желанием служить благу человечества, мужеством не отречься от своих друзей и рисковать жизнью за свою честь. Души, обладающие некоторым величием, умеют забывать о себе; они чувствуют, чем они обязаны человечеству, и видят себя лишь в зеркале будущих поколений».



Манон Ролан верна себе и снова стремится возвыситься и обелить перед судом истории не только себя, но и партию, идейным вдохновителем, часто незримым, которой она была. Однако она умалчивает о том, что если бы победа оказалась в руках Жиронды, народные массы Франции вряд ли получили бы много больше, чем давала им абсолютистская власть монархии. Недаром народ Франции так ненавидел «бриссотинцев» и жену «рогатого Ролана». Высшей, кульминационной точкой подъема великой революции французов был период власти якобинцев, а они-то в глазах мадам Ролан являлись злейшими врагами всех замыслов ее лично и жирондистов.

Накануне суда и казни Манон писала Бюзо:

«Пребывай еще в этом мире, не спеши, если для чести существует убежище, оставайся, чтобы изобличить несправедливость, изгнавшую тебя. Но если упорное несчастье приковывает к твоим пятам врага, то не потерпи, чтобы против тебя поднялась наемная рука, умри свободно, как жил ты свободно, и пусть эта благородная храбрость, мое оправдание, через этот твой поступок будет и твоим оправданием».

Восемнадцатого брюмера II года (8 ноября 1793 года) в холодное бессолнечное утро на дворе тюрьмы Консьержери подле решетки столпились арестованные, ожидавшие в каменном безмолвии решения своей участи. Официальный «крикун», вызывавший ежедневно заключенных в суд, хрипло прокричал: «Гражданка Ролан». Она знала заранее, когда это наступит, и стояла у решетки неестественно прямая и напряженная. Впервые надетое белое кисейное платье было так нарядно, как те, что она одевала к министерскому обеду. Волосы, слегка завитые на висках, распущенные по плечам, молодили лицо. Маленькая шляпка-чепчик, модная во II год Республики, дополняла убранство.

Услышав свое имя, Манон, слегка наклонившись, подхватила шлейф и, обернувшись, слишком громко сказала несколько любезных слов окружающим, которые бросились к ней, охваченные безграничным ужасом и в то же время еле скрываемой радостью оттого, что каждому из них еще на день продлена жизнь. Улыбаясь, она вышла за ворота тюрьмы. С ней рядом в Революционный трибунал ехал полумертвый от страха Ламарк, ведавший напечатанном ассигнатов и обвиненный в измене. Оба эти человека предназначались гильотине одновременно.

Несколькими часами позже Манон была приговорена к смерти. В прениях суда ей не разрешили участвовать, и заготовленная речь осталась произнесенной. Революционный трибунал знал, что перед ним непримиримый и опасный враг, и был беспощаден к этой одаренной женщине, которая, оставаясь в тени, так умело руководила политической борьбой жирондистов, превратившихся во врагов революции. Не дослушав смертного приговора, госпожа Ролан вскричала: «Вы считаете меня достойной разделить участь великих мужей, убитых вами. Я вас благодарю и вместе с тем уверяю, что я постараюсь на пути к эшафоту показать то же мужество, что и они». Она напоминала о хладнокровии двадцати двух жирондистов, умиравших с пением «Марсельезы».



В пятом часу повозка палача повезла ее на площадь Революции, рядом с ней был опять Ламарк; он дрожал, метался, плакал, вызывая насмешки равнодушного палача. У Манон хватило сил обратиться к Ламарку со словами утешения и ободрения. Только раз по пути на гильотину речь ее беспомощно оборвалась на полуслове: покачиваясь и дребезжа, тележка проезжала тогда по мосту над Сенной, вдали показалась набережная Часов и дом с узеньким окном, похожим на бойницу. Воспоминания, сожаления, тени детства окружили Манон лишь на мгновение; площадь Революции и гильотина, скрытая гипсовой статуей Свободы, были совсем близки.

На улице Сент-Оноре вслед за тележкой двинулись немногочисленные любопытные. Интерес к зрелищам казней притуплялся. Прохожие равнодушно выслушивали имена смертников. В толпе Манон искала неотступно идущего Боска, который не отрывал от нее, как от святой, идущей на Голгофу, мокрых восторженных глаз. Рискую быть опознанным, Боск пришел в город, покинув хижину близ Парижа, где скрывался.

У помоста гильотины палач придержал лошадь, и осужденным помогли спуститься. Манон, все еще ободрявшая Ламарка, сказала ему заботливо: «Взойдите первым, у вас не хватит сил перенести зрелище моей казни». Ожидая своей очереди, она попросила перо и бумагу: верная себе, Манон хотела сохранить для потомства свои последние ощущения. Осужденной отказали в ее просьбе. Не говоря ни слова, госпожа Ролан взойшла на помост. Впоследствии легенда приписала ей слова, будто бы обращенные к белой Свободе, у подножья которой, словно жертвенник, стоял эшафот: «О Свобода, сколько преступлений свершается во имя твое!»

Едва казнь совершилась, площадь опустела. Ночью того же дня по ухабистой дороге, ведущей из Парижа в лес Монморанси, размытой осенним морозящим дождем, сгорбившись, плелся Боск. Он спешил обратно в лесной домик, где был в безопасности. Увлечение ботаникой и зоологией помогало ему довольствоваться обществом деревьев, цветов, птиц, белок и мелкого зверя. В одном из лесных закоулков, в расщелине скалы, Боск схоронил манускрипт госпожи Ролан.

В его хижине две недели скрывался и Ролан, бежавший впоследствии в Руан, где нашел убежище у давнишних приятельниц. Одряхлевший, утомившийся жизнью Ролан хотел умереть на эшафоте, как умерла Манон. Для этого следовало вернуться в

Париж, пойти в Конвент. Одна из престарелых подруг Ролана отвергла этот план, как ведущий к конфискации имущества, нужного для остающейся в живых дочери Евдоры. 15 ноября бывший министр закололся шпагой, скрытой в трости.

Бюзо скрывался в Бретани. Истощенный лишениями, он переходил с места на место, страшный той опасностью, которую нес с собой для тех, кто пускал его под свой кров. Повстречавшись с Петионом, он очутился вместе с ним в доме госпожи Буке - неустрашимой фанатической жирондистки, покинувшей Париж, чтобы помогать беглецам.

В ее домике в Сен-Эмильоне близ Бордо находилось семеро осужденных депутатов-жирондистов: Саль, Гадэ, Лу-ве, Барбару, Валлади, Петион и Бюзо. Все они прятались в похожем на грот колодце, задыхаясь от недостатка воздуха и сырости. Ночью госпожа Буке носила им еду и вино из своего погреба. Она давала им очень мало пищи, чтоб не возбуждать подозрения соседей количеством покупаемых продуктов: подвоз припасов в город становился все более незначительным. Спустя месяц госпожу Буке предупредили о предстоящем обыске, и жирондисты покинули ее усадьбу. Троиц - Барбару, Бюзо и Петиона - госпоже Буке удалось переселить в мансарду дома местного парикмахера Фрокара, заклятого врага революции.

В течение долгих месяцев Бюзо жил под крышей парикмахерской, никогда не выходя из своего убежища. Желчный и беспомощный, он утешал себя предвкушением невероятной, изощренной расплаты с Горой, когда его единомышленники вернутся к власти. Легко переходя от одного настроения к другому, Бюзо, однако, часто терял мужество и, как виноватый ребенок, оплакивал прошлое, свои неудачи и Манон.

Госпожа Буке не без успеха пыталась организовать переправу уцелевших жирондистов в Швейцарию и была уже у цели, когда обыск, обнаруживший ее связь с жирондистами, по-иному решил судьбу беглецов и самой [госпожи Буке](#). 17 июня 1794 года она была арестована и вскоре гильотинирована в Бордо.

Узнав об участии госпожи Буке, Барбару, Петион и Бюзо оставили небезопасный чердак Фрокара. Восемнадцатого июня 1794 года в поле близ Сен-Маньяна беглецы случайно натолкнулись на проходивший мимо отряд солдат. Барбару пытался застрелиться, но остался жив, был отправлен в Бордо, судим и казнен. Бюзо и Петион спаслись от преследования солдат в сосновом лесу, окаймлявшем

поле. Не надеясь на спасение, они приняли яд. Их тела были найдены 19 июня 1794 года, за восемь дней до переломной даты французской революции - 9 термидора - гибели якобинской диктатуры.

Дни Термидора явились в своем роде реваншем Жиронды. В Конвенте, пославшем на гильотину непримиримого вождя революции Робеспьера, в рядах «болота» заседали многочисленные сторонники жирондистов. Они отреклись от Бриссо и его друзей, едва выяснилась неизбежность их поражения, но не могли отречься от самих себя. Когда термидорианцы - организаторы заговора против революционного правительства - предложили «болоту» бок, эта колеблющаяся группа Конвента с готовностью пошла за ними. Они и решили в Конвенте судьбу Робеспьера.

Революционная диктатура якобинцев была сломлена, лживая либеральная фраза Прикрывала дело начинавшейся буржуазной контрреволюции.

Жирондист Луве, скрывавшийся долгое время вместе с Бюзо, благополучно вернулся в Париж и вместе с Боском вскоре после Термидора выпустил первое издание мемуаров мадам Ролан под заглавием «Призыв к беспристрастному потомству гражданки Ролан. Собрание всего написанного ею во время заключения в тюрьмах Аббатства и Сен-Пелажи». Книга была издана «в пользу единственной дочери гражданки Ролан, лишенной состояния своих родителей, имущество которых находится все еще под секвестром».

## ГОСПОЖА РОЛАН

С. С.

Исторический вестник.

СПб. 1880. Т.3, сентябрь-декабрь

С. 804-843.

Текст приведен к современной орфографии.

Подготовила к веб-публикации: [Люсиль](#), Vive Liberta, 2003

<Подглавки I-III содержат пересказ популярных биографий о детстве Манон Флипон, поэтому я их опустила.>

Настроенная его [Руссо] сочинениями, она продолжала искать себе мужа-педогога. В числе женихов ее был один доктор. Эта профессия нравилась ей, и хотя сам жених был ей не по душе, она из принципа, потому что он был умный человек, с которым умная женщина может жить, дала ему согласие, но опять свадьбу расстроил отец.

Около этого времени г-жу Ролан ждала первая большая потеря в ее жизни: она лишилась матери. Повторившийся паралич унес ее в несколько часов. Потеря эта страшно поразила ее; она сама слегла и две недели провела между жизнью и смертью.

### IV

Первое знакомство с Роланом. - Его личность. - Сватовство. - Отказ отца к монастырь. - Замужество. - Отношения г-жи Ролан к мужу. - Внутренняя борьба.

Госпоже Ролан было 20 лет, когда она познакомилась с своим будущим мужем. Он несколько лет бывал у них в доме прежде, чем она могла допустить мысль, что будет его женой. Дело в том, что он был вдвое старше ее и годился ей в отцы. Несмотря на все дифирамбы, которые она расточает ему в своих записках, выставляя его человеком во всех отношениях замечательным, это был довольно сухой педант с ограниченным умом и неограниченным эгоизмом. Старый холостяк с разбитым здоровьем, вечным катаром желудка, с необыкновенно высоким мнением о себе, он прикрывал свое ничтожество суровым видом республиканца, свое упрямство - твердостью характера. Это была одна из тех ученых бездарностей, которые внушают суеверное

уважение толпе и заставляют предполагать неизмеримую глубину там, где нет ничего, кроме тупого самообожания.

Своим первым знакомством с ним г-жа Ролан обязана была своей подруге. София Кане прислала его к ней с письмом, уведомляя ее, что податель этого письма г. Ролан Платьер и есть тот самый философ, о котором она говорила ей прежде, человек строгих нравов, пользовавшийся общим уважением и известный своею ученостью. Как светская девушка, София Кане находила в нем только два недостатка: его слишком неограниченное поклонение древности и презрение к современникам и его страстишку говорить о себе.

Его сухой, отрывистый голос, как у людей, страдающих одышкой, был неприятен для уха, хотя он и говорил очень умные вещи. Так по крайней мере казалось 20-летней девушке, давно уже томившейся ожиданием умного и образованного человека, который рисовался в ее воображении.

После смерти матери жизнь ей стала не весела. Отец завел себе любовницу, бросил дела, втянулся в картежную игру и проживал не только свое, но и ее состояние. Первое время он еще стеснялся, старался иногда сидеть дома и играть с дочерью в пикет; но так как обыгрывать дочь интереса не представляло, да она и сама видимо томилась этим, чувствуя непобедимое отвращение к картам, то он освободил наконец и себя и ее от этих подвигов самопожертвования.

Г. Ролан продолжал бывать у них; он любил поговорить, а Мария Флипон умела слушать. Между ними скоро установились дружеские отношения. Уезжая в Италию, Ролан вручил ей на хранение все свои рукописи. Доверие его чрезвычайно польстило ей. Полтора года, проведенные им за границей, устроили его сердечные дела лучше, чем он мог бы устроить их сам. Его путевые записки и философские размышления были читаны и перечитаны молодою Флипон. Судьба, видимо, хотела подшутить над ней, посылая ей в молодости таких людей, как Ролан и Ла-Бланшери и только в зрелых годах бросив ее в кружок людей, действительно умных и талантливых и способных зажечь в ней позднюю и неудовлетворенную страсть. Нужно было всю ее неопытность, незнание людей и страстное желание вырваться из

отцовского дома, чтобы поверить в таланты Ролана и отдать ему свою судьбу.

Как истинный философ, он употребил пять лет на то, чтоб объяснить ей свои чувства. Когда он сделал ей предложение, она была страшно удивлена. По ее словам, она привыкла смотреть на него, как на существо, не имеющее пола. Но таково было влияние этого сухого моралиста на полную жизни и огня девушку, что она считала себя недостойной его и откровенно объяснила ему, что не может быть хорошей партией для него; отец ее разорен, а ее личное состояние не превышает ливров годового дохода. Она серьезно советовала ему подумать, но он настаивал и, тронутая этим, она согласилась.

Отец ее посмотрел на дело иначе. Чопорность Ролана была ему не по душе; он никак не хотел допустить, чтобы дочь его, отказавшая выгодным женихам, которые могли бы обеспечить ее на всю жизнь, могла выйти за эту высохшую мумию. Не посоветовавшись с нею, он послал ему отказ, и в самых жестких выражениях. Дочь после этого объявила ему, что не хочет больше жить с ним в одном доме, оставила ему кое-как серебро на уплату его долгов, себе взяла комнатку в монастыре, где и прожила полгода, питаясь картофелем, бобами и рисом, во всем нуждаясь и изредка только навещая отца, чтобы привести в порядок его платье и белье. Все это было сделано сгоряча, в надежде на то, что жених прилетит к ней и вырвет ее из этого добровольного заточения.

Но время шло, а влюбленный философ писал к ней трогательные письма, но этим и ограничивался. В 45 лет любовь глупостей не делает. Мария Флипон поняла это, и это значительно отрезвило ее. Но гордость не позволяла ей изменить своему слову и вернуться к отцу. Через полгода Ролан надумался и пришел навестить ее. Свидание это опять воспламенило его, и он тут же повторил свое предложение. На этот раз она задумалась; но другого выхода не было, и она дала свое согласие. Безумный шаг, который стоил ей потом долгой, непрерывной борьбы! Ей нужно было призвать, на помощь всю свою философию, чтобы сделать из себя сиделку, сестру милосердия и домашнего секретаря своего мужа; чтобы, удовлетворяя всем его старческим капризам, убедить себя, что

она служит великому человеку. Учиться у него алгебре, которая отталкивала ее своею сухостью, составлять ему гербарии, переписывать и держать корректуру его сочинений, самой готовить ему те кушанья, которые мог переварить его ученый желудок и не сметь даже противоречить ему, чтобы не вызвать тени неудовольствия на его лице - вот что в течении 12 лет наполняло жизнь этой умной и энергичной женщины.

Нужно было иметь огромную силу воли, чтобы, обманывая других, обмануть и себя, чтобы писать проекты своего мужа, управлять его именем, вдохнуть в него душу, толкнуть его на политическую арену и каждую минуту повторять себе, что он все, а она только его орудие. Это был подвиг в полном смысле слова и она его совершила. Все 400 страниц ее мемуаров пересыпаны восклицаниями о том, что муж ее не умрет в потомстве, что справедливость Аристиды и строгость Катона были не единственными его добродетелями, что если б ему немножко побольше знания людей, то он был бы способен управлять не только министерством, но целым государством. Из плохого чиновника и посредственного ученого у нее выходил какой-то доблестный герой. Мы не стали бы распространяться об этом, если б вместе с своей женой «добродетельный Ролан» не дурачил других и, завертываясь в свою римскую тогу, не поднимался на неподобающую ему высоту. Все его добродетели, о которых столько трубили тогда, ограничивались честностью и надо признаться, мало делали чести его времени, если человек, не набивавший себе кармана чужими деньгами, мог так сильно гордиться этим.

Что же дала г-же Ролан ее жизнь с ним? «Были минуты, - говорит она, - когда я чувствовала, что мы не пара. Когда мы жили в уединении, мне бывало под час тяжело; когда мы бывали в обществе, мне встречались люди, которые мне нравились и к которым и я не всегда могла остаться равнодушной». При таких условиях уединение все-таки было лучше: оно меньше представляло соблазнов, с тех пор особенно, как у нее родился ребенок и можно было приложить к делу свои теории воспитания.

Семейные подвиги г-жи Ролан, были несколько не меньше ее политических подвигов, и ее жизнь с сварливой и капризной

свекровью, этот добровольный искуc, которому она подвергала себя, столько же делали честь ее мужеству, сколько и знаменитое впоследствии письмо к королю. Чтобы попятить политического деятеля в г-же Ролан, нужно видеть в ней женщину и проследить ту адскую работу воли, ту постоянную ломку, которой она подчинила себя и свои чувства. Слишком самолюбивая, чтобы стоять на заднем плане, она не искала дороги в высший свет, где могло быть только одно приличное для нее место, но и то уже к несчастью занятое, - место французской королевы, этой ветреной, дерзкой, самоуверенной, преданной чувственным наслаждениям австрийки, как она о ней отзывалась. Даже эшафот, уравнивший всех, не мог примирить ее с ней; она возмущалась тем, что их участь одинакова. Вообще чувство снисходительности к врагу было ей незнакомо: она не признавала в другом лагере не только добродетелей, но даже и талантов. После своего мужа она считала способными людьми только пять-шесть человек из его партии; все остальное было на ее взгляд или развратно, или ниже посредственности. Франция представлялась ей какой-то пустыней, в которой нельзя было набрать десяти человек, чтобы поставить во главе какого-нибудь дела. Интересен между прочим ее отзыв о Неккере, которого она называет жалким ничтожеством с раздутой славой и неимоверно высоким мнением о себе, не подозревая, что этот отзыв мог быть всецело применен к ее мужу и к целой плеяде подобных ему государственных людей, о которых еще Монтескье сказал, что они поддерживают государство так же, как веревка поддерживает повешенного.

## V

**Перелом в жизни г-жи Ролан. - Начало революции. - Отношение к народу. - Ее идеал. - Возникновение ее салона. - Разочарование в людях. - Знакомство с Робеспьером. - Ролан сделан министром.**

Жизнь г-жи Ролан представляет собственно два периода: тридцать семь лет неизвестности и два года политической деятельности. Мы видели первый, перейдем теперь ко второму.

Начало революции застало Ролана в Лионе, где он служил по городским выборам и обличал злоупотребления городской администрации. Финансы города представляли тогда сколок с государственных финансов и благодаря повальному грабежу

были в таком же безнадежном состоянии. Лион имел 40 миллионов долга. Фабрики остановились, 20 тысяч рабочих сидели без хлеба, нужно было довести об этом до сведения национального собрания и депутатом туда был отправлен Ролан. В феврале 1791 г. он приехал с женой в Париж.

В жизни ее с этой минуты наступает страшный перелом. Семья, привязанности, даже любовь к дочери, все отступает на задний план! Политика как вино ударила ей в голову. Ход событий казался ей слишком медленным. Если б это было в ее власти, она сразу подвинула бы его на десять лет. Она испытывает адские мучения, когда видит, что около нее медлят, идут на сделки, чего-то выжидают. Наносить удары врагу и наносить их метко, кажется ей единственным полезным делом. Она не верит в возможность мирных переворотов. Она ждет какого-то возрождения, которое сразу осчастливит целую массу народа. Но еще важнее, чем это народное благо, было для нее уничтожение некоторых ей лично неприятных предрассудков и привилегий. Чтобы талант мог занять подобающее ему место, нужно было сравнять почву.

Что народ был тут на втором плане, а на первом стояло для нее торжество буржуазии, в этом нас убеждают собственные ее признания, разбросанные в ее записках. Посмотрим, как она относилась к этому народу, во имя которого начиналась революция. В двух-трех местах есть, правда, слова о том, что она, скорбела о его печальной участи. Но так ли это? Не было ли это чувство вымышленным и не служило ли оно оправданием к тому, чтобы с оружием в руках добывать себе право на известность и на участие в государственном управлении? Что такое был народ в ее глазах? Трусливая и невежественная масса, у которой эгоизм шел об руку с ленью!»<sup>1)</sup> Толпа глупцов, всегда готовая поклоняться тому, кто громче кричит. Удивить ее, ошеломить - значит в тоже время и повелевать ею! Каждый фанатик, каждый ловкий плут, может это сделать. «О, как прав был тот древний оратор, - восклицает она, - который, услышав, что народ аплодирует ему, обратился к своим друзьям и спросил, не сказал ли он какой-нибудь глупости!»

«Народ несчастен и достоин сожаления, потому что его обманывают и ведут на казнь в лице его лучших представителей: (т. е. жирондистов).

Народ утопает в невежестве и упивается клеветой<sup>2)</sup>. Все попытки к возрождению его бесполезны; в нем слишком много низких инстинктов, он погряз в пороках... Мы думали поднять его, говорит она, забывая, что низость и эгоизм лежат в основе его характера<sup>3)</sup>.

Свобода создана только для гордых душ, которые презирают смерть и умеют во время поразить врага, а не для этой развращенной нации, которая выходит из грязи и нищеты только для того, чтобы погрузиться в разврат и упиваться кровью эшафотов»<sup>4)</sup>.

Но довольно об этом! Достаточно будет прибавить, что когда в тюрьме она столкнулась с этим народом, она почувствовала такое отвращение к нему, что избегала выходить из своей комнаты и нанимала женщину, которая носила ей воду, чтобы только не смешиваться с толпой. В ее отношении к ней проглядывала та же смесь высокомерного сожаления и презрения, которого она не могла простить аристократам в отношении себя. Она не прочь была сделать и добро, она лечила, например, крестьян в деревне, но точно то же могла сделать и любая из ненавистных ей аристократок. Воспитанная на древних классиках, поставившая себе за идеал греческие республики, - где какой-нибудь десяток тысяч свободных граждан процветал, опираясь на рабство и на крепостной труд других десятков тысяч, она не могла стать выше своего века и в своем стремлении пересадить афинскую республику на французскую почву должна была вместе с сотнями других, подобно ей заблуждавшихся людей, потерпеть полнейшую неудачу.

В Париже скромная квартирка ее сделалась скоро центром целого кружка. Соединяющим звеном послужило в начале то, что хозяйку всегда можно было застать дома и что она жила в такой части города, куда каждому из членов кружка недалеко было идти! Четыре раза в неделю по вечерам у нее собирались депутаты и обсуждались государственные вопросы. Не принимая участия в прениях, она сидела в стороне и, прислушиваясь к разговорам, работала или писала. Иногда ей случалось написать

до десяти писем в вечер, не теряя ни одного слова из того, что говорили. Сама она еще не решалась заговорить: 37 лет скромной жизни не дали ей уверенности в том, что она не глупее других и что все эти государственные деятели только с виду так страшно умны, а на деле очень часто пустейшие люди.

У нее не было еще тогда сознания, что людей в Париже нет, что посредственность царит везде и превосходит всякое вероятие, что начиная с низшего агента, от которого требуется только здравый смысл и грамотность в изложении своих мнений, и до генералов, командующих армиями, все это сплошь заражено той же эпидемией ничтожества. «И не то, чтобы не было умных людей, *l'esprit court les rues!* - говорит она, - но не было решительно людей, способных управлять, не было характеров и ширины взгляда». Все эти горькие заключения, к которым она пришла, когда муж ее был министром, в то время были еще чужды ей. Она была скромна, как институтка, и думала, что люди, которые говорят громче ее, непременно должны быть умнее ее. Она, читавшая Монтескье, Руссо, Вольтера и всех умнейших авторов своего века долго не могла выйти из под обаяния этих ораторов и, слушая их горячие речи, не смела возвысить голоса.

Но слушал постоянно эту болтовню и легкость, с какою эти господа болтали по три, по четыре часа, ни к чему решительно не приходя, она начала задумываться. «Возьмите каждого в отдельности, говорит она, - вы слышали превосходные мысли, прекрасные соображения! Но все вместе взятое совершенно лишено всякого определенного плана. Прекрасные ораторы и философы, умнейшие политики на словах, они ничего не стоили, когда нужно было действовать; ни знания людей, ни умения управлять ими не было и тени!» Все разговоры и разговоры! Ей это, наконец, так надоело, что у нее явилось неудержимое желание дать им всем пощечину, не смотря на несомненную честность их убеждений.

К этому времени относится и ее знакомство с Робеспьером, которому она долго за его благие намерения прощала ту скуку, какую он на нее навел. Ее участие к нему доходило до того, что в один из бурных дней революции, когда он не мог считать себя в безопасности, она с мужем отыскивала его по городу,

чтобы предложить ему приют у себя в квартире. Для нее, как и для некоторых из ее друзей, он был тогда просто «несчастный молодой человек».

На этот раз они пробыли с мужем в Париже семь месяцев и уехали в деревню, где и провели всю осень. Одним из последних постановлений национального собрания уничтожалась должность правительственных инспекторов мануфактур и Ролан, занимавший ее, решил ехать опять в Париж, чтобы хлопотать о пенсии за сорокалетнюю службу. Они вернулись туда в декабре, когда был поднят вопрос о новом министерстве и двор, готовый на все уступки, искал популярных министров. Римская тога Ролана, на этот раз пригодилась ему. Его республиканские убеждения, его ничтожество и упрямство, имевшее вид твердости, были именно теми добродетелями, которые требовались тогда от популярного министра. В конце месяца он получил назначение и вместе с Дюмурье пришел сообщить об этом жене.

## VI

**Дюмурье. - Мнение г-жи Ролан о нем и о других министрах. - Ролан во дворце. - Совет министров. - Салон сформировался. - Борьба с Дюмурье. - Письмо к королю. - Отставка.**

Первым чувством г-жи Ролан, когда она узнала об этом, было опасение, что с таким человеком как Дюмурье, ее муж не уживется. Инстинкт говорил ей, что Дюмурье, эта умнейшая личность во всем министерстве, не постеснится, когда ему нужно будет снять с дороги какого-нибудь Ролана. Умный и ловкий придворный, он мог шутя столкнуть недалекого республиканца. Его свободные, непринужденные манеры, его привычка вращаться в высшем свете и слишком пронизательный взгляд не понравились ей с первого знакомства. Она поняла, что этого человека трудно будет закрепить за собою и что в их кружке он пассивной роли играть не станет. Человек незнатного происхождения, как и все почти люди их партии, он мог всего ожидать от революции, но ловкость, с какою он создавал себе друзей во всех кружках, не позволяла ему принадлежать исключительно ни одному из них. Генерал, умевший быть популярным при дворе, в армии и среди якобинцев, был не надежным другом в глазах г-жи Ролан. Нельзя было ожидать,

чтобы 50-летний мужчина, любивший весело пожить и проводить время с актрисами, мог находить особенное удовольствие в салоне хотя и красивой, но уже отцветающей женщины и притом с несомненным притязанием на политическую роль. Она видела в нем умного развратника, он в ней - скучного фанатика. Дальше этого их отношения не шли.

Она саркастически замечает, что он должно быть очень веселый собеседник в обществе мужчин, когда они подвыпьют, и женщин сомнительного поведения, но что с порядочной женщиной он чувствует себя неловко. Вообще, на ее взгляд, его место было при дворе старого режима; революция захватила его врасплох; он мог служить ей смелостью и подчас гениальностью своих планов, но никогда ни одного из них не в состоянии был довести до конца. Чтобы стать во главе партии, ему не доставало только одного убеждения! Он никогда не верил сам тому делу, которому служил. Он весь вылился в двух словах:

- Если б я был на месте короля, говорил он, я провел бы все партии и сам стал бы во главе революции.

Из остальных министров, никто по ее мнению не стоял на высоте своего призвания. Она выделяет только военного министра Сервана, человека бесконечно ей преданного и служившего орудием в ее руках. Обо всех других она отзывается только мельком и довольно жестко. Так, морской министр Лакост, чиновник с ног до головы, не отличался ни деятельностью, ни шириной взгляда, необходимою в такие времена. Министр юстиции казался ей старей бабой по своей трусости и страсти к дрязгам. Нисколько снисходительнее относится она к министру финансов Клавьеру, человеку их партии, которого вместе с ее мужем выдвинули жирондисты; его она признает хорошим работником, но замечательно упрямым человеком, не уступавшим ни одной занятой в своих проектах. Как истый кабинетный ученый, он не хотел знать ни жизни, ни чужих мнений, и находился в вечной войне с ее мужем. При всем своем взаимном уважении эти люди друг друга терпеть не могли.

Такое разнокалиберное министерство из ученых, чиновников и республиканцев, с ловким придворным во главе, уже само в себе носило признаки разложения, что и не замедлило вскоре обнаружиться. Предоставленное себе, оно

тотчас же разделилось на две партии: в одной стоял Дюмурье и Лакост, в другой три жирондиста - Ролан, Клавьер и Серван; один только министр юстиции сохранял нейтралитет.

В первое свое появление при дворе Ролан вполне достиг своей цели поразить и ужаснуть всех своей независимостью. Он пришел во дворец до того небрежно, даже грязно одетый, что произвел общий скандал. Главный церемониймейстер подошел к Дюмурье и, указывая с беспокойством на Ролана, шепотом сказал ему:

- Как, monsieur! даже и башмаки без пряжек?

- Да, monsieur! - ответил Дюмурье невозмутимо, - все погибло!..

Г-жа Ролан не без удовольствия рассказывает об этом эпизоде, видимо полагая, что и он клонится к прославлению ее мужа. А между тем он своею мелочностью в проявлении патриотизма и своей неряшливостью, которую выставлял напоказ, вызывал насмешки даже со стороны Марата, а Камилл Демулен, долго спустя после его смерти писал: «Я не думаю, чтобы свобода обязывала кого-нибудь ходить в грязи, в рваном платье и с продранными локтями, как я часто видал Ролана и Гаде, которые этим щеголяли».

Но войти во дворец в грязном платье оказалось легче, чем сохранить там свою независимость, и г-жа Ролан скоро должна была убедиться в этом. В совете министров, по ее словам, больше вели салонные разговоры и рассказывали анекдоты, чем занимались государственными делами. Король читал газеты, с каждым из министров считал долгом поговорить о его личных делах и так очаровал Ролана, что тот снял на время свою римскую тогу и, постепенно размягчаясь, приходил из совета к жене в самом добродушном настроении. Та не могла простить ему этого и говорила, что всякий раз, как она видит его в таком настроении, она ждет, что он сделает какую-нибудь глупость.

- Какую роль вы там играете! - говорила она. - Вы все в прекрасном расположении духа, потому что вам не делают неприятностей, напротив за вами ухаживают. Каждый из вас думает, что может делать, что хочет, тогда как я уверена, что вас всех там дурачат.

Совет министров собирался четыре раза в неделю. В эти дни министры обедали поочередно друг у друга. У г-жи Ролан приемный день была пятница. На этих то пятницах она впервые выступила в роли политического деятеля. Ее салон, хотя она упорно утверждает, что салона у нее не было, а был только кружок ее друзей, с этих пор носит исключительно политический характер. Тут обсуждались все меры, имеющие целью унижить или оскорбить двор; тут сходились министры и депутаты, сочинялись письма, воззвания, циркуляры; отсюда управлялось министерство внутренних дел и контролировалось настроение умов в провинции. Здесь делили карту Франции и проводили черту, за которую не должен переступить монархизм; здесь изучали военные позиции и производительные силы страны и открывали- превосходное настроение Юга. Здесь же разыгрался эпизод, положивший начало непримиримой вражды Дюмурье и Ролана.

В городе разнесся слух о какой-то крупной взятке, которую взял один из чиновников Дюмурье, директор департамента иностранных дел, и поделился ею с любовницей Дюмурье, m-me Вовер. История эта была рассказана в салоне г-жи Ролан. Весь кружок возмутился этим и устроил что-то вроде суда над Дюмурье, которому посоветовали быть вперед осторожнее в выборе своих агентов. Ролан выступил при этом в роли обвинителя. Дюмурье, смотревший по-своему на вопросы нравственности и полагавшей, что на такие пустяки не стоит обращать и внимания, сначала отделялся шутками, но потом сам резко отвечал и прекратил свои посещения. Г-жа Ролан поняла, какого врага они нажили в нем и дала понять мужу, что если он не хочет, чтобы Дюмурье столкнул его, то пусть постарается столкнуть его первый.

Сделать это было, однако, труднее, чем она думала. Этот гениальный интриган нашел комбинацию, которая сразу давала ему две точки опоры: популярный во дворце, сильный личным расположением короля и королевы, он не побоялся войти на трибуну якобинцев и оттуда протянуть им руку, как друзьям. Оставляя таким образом за флагом жирондистов и г-жу Ролан, он смотрел дальше и видел лучше их.

После разрыва с ним ей легче было овладеть мужем, вырвать его из под влияния короля и вдохнуть в него ту энергии, которою она дышала сама. Через свою креатуру Сервана ей удалось провести в национальном собрании декрета о 20-ти тысячной армии, которую решено было собрать в провинции и двинуть в Париж, как охрану для национального собрания. Не трудно было догадаться, против кого именно предназначалась эта армия. Король отказался подписать декрет. Все-это время г-жа Ролан находилась в возбужденном состоянии. С таким орудием, каким были в ее руках два министра - ее муж и Серван, она могла направлять удары далеко. Борьба при таких условиях казалась ей не только возможною, но и желательною. Она знала, что за ней стоит целая пария, достигшая высшей точки своего могущества. Действительно это было время торжества жирондистов. Горячая речь их гремела отовсюду; на всех трибунах царили их ораторы; из других кружков слышались только одиночные протесты, тотчас же подавленные обвинениями в измене и мятеже. Они так же не скупались на эти обвинения, как потом и их враги.

Возраставшая популярность Дюмурье не давала покоя г-жи Ролан. С той минуты, как он ушел из их кружка, сошелся с якобинцами и успел втереться в доверие к королеве, она считала невозможным, чтобы муж ее продолжал служить с ним. Надо было поставить вопрос прямо: он или Дюмурье! Решить это мог только король, но и он в ее глазах был таким же опасным врагом. Его целью было скомпрометировать министров и лишить их популярности. Чтобы не допустить до этого, нужно было принять мира и уронить его во мнении народа прежде, чем он успеет уронить в его мнении министров.

Она убедила мужа, что ему остается только два выхода - или вырвать у короля подпись ненавистного ему декрета, или подавать в отставку. Но уйти молча, как мог это сделать всякий последний чиновник, она считала недостойным его. Нужно было разоблачить политику двора и написать род манифеста, который в одно и то же время послужил бы оправданием ее мужу и обвинительным актом против короля. Нужно было, чтобы отставка Ролана явилась гражданским подвигом и послужила к его прославлению; и вот они вдвоем решили написать письмо и убедить министров подать его королю, как коллективное



заявление от всего министерства. Письмо было написано, министры приглашены на совещание, но резкий тон послания заставил их призадуматься. Начались споры из за отдельных фраз, один предлагал подождать, другой совсем отказывался подписать его. Было ясно, что соглашение не возможно. Тогда г-жа Ролан убедила мужа действовать одного и подать заявление только от своего имени.

Знаменитое письмо это, имевшее скорее вид доноса, так как целью его было не убедить короля, а унижить его в общественном мнении, всецело принадлежало ее перу. По ее словам, оно было написано одним духом, как и все почти, что она писала в этом роде. Предоставляем судить читателю о благоразумии министра, прибегавшего в решительные минуты к перу раздраженной женщины и выпускавшего как манифест пространное, цветистое и во всех отношениях бестактное послание своей жены. Г-жа Ролан не имела за собой даже того оправдания, что ее целью было открыть глаза королю; угрожающий и оскорбительный тон письма не допускал этой мысли, а употребление, которое она сделала из него впоследствии, еще яснее показало, в чем именно заключалось ее намерение. Она знала, что должно случиться одно из двух: или письмо напугает короля и заставить его искать спасения в их поддержки; тогда они поставят ему условием удалить Дюмурье и во главе министерства станет ее муж; или письмо оскорбит короля, тогда ее муж предаст его гласности.

Если в первое министерство Ролана совет министров занимался болтовней и невинными анекдотами, то на этот раз в нем происходили сцены иного рода и бурные претя часто оканчивались взаимными дерзостями. Ролан, желая, чтобы каждое его слово дошло до потомства, хотел непременно, чтобы на заседаниях совета присутствовал секретарь, обязанный буквально записывать претя. Но так как в эти дни общего возбуждения трудно было найти человека, который согласился бы молчать, то и секретарь частенько вмешивался в прения. Ролан сделал ему раз замечание.

- Да что же я, по-вашему, чернильница, что ли? - крикнул раздраженный секретарь.

Ролан прочел ему нотацию, но в словах секретаря отражалось только общее настроение: никто не хотел быть

чернильницей. Оправдывая бездействие своего мужа после 2-го сентября, когда было перебито в тюрьмах до тысячи человек, г-жа Ролан всю вину сваливает на собрание и на коммуну. Она не находит слов, чтобы заклеить трусость собрания, которое оставило безнаказанными виновников резни. Но что делали с своей стороны министры? Что сделал ее муж? Он писал и писал без конца, и в коммуну, и к военным властям, и к народу, приглашая заблудших братьев придти в его объятия. «Si des freres egares reconnaissent qu'ils se sont trompes, - говорит он, - qu'ils viennent! mes bras leur sont ouverts!»<sup>5)</sup> Он отделял свои фразы, когда нужно было действовать. «J'ai admire le 10 aout, j'ai fremi sur les suites du 2 septembre!»<sup>6)</sup> Так начинает он одно из своих излияний. И в то время, как Дантон устраивал своя дела, всюду набирая себе приверженцев и создавая себе друзей в армии, он сочинял послания в провинцию. Дантон запустил руку в общественный суммы и тратил их бесконтрольно, никому не давая отчета. Но почему же Ролан допустил это? почему он не вступил с ним в борьбу? Г-жа Ролан объясняет это: министерство представляло для него слишком сложный механизм; подробности поглощали его... Он писал циркуляры.

Испуганные новым движением, жирондисты провозгласили наконец-то, что им следовало провозгласить давно: что Париж не Франция, и что горсть бунтовщиков не составляет народа. Но то, что имело бы силу в июне и в августе, теряло всякое значение в сентябре. Пока народное восстание служило им, они признавали его божественным правом народа. И кровь, пролитая 10-го августа, кровь защитников тюлерийского дворца, была признана неизбежной и печальной жертвой народного возмездия. Но когда то же возмездие пошло дальше и грозило их собственным идеям, они заговорили об анархии, о тирании демагогов, они взывали к провинции, возбуждая ее против Парижа. Эта страшная непоследовательность подкосила в корне их партии; если прибавить к этому, что ее лучшие представители, сильные на трибуне, были мало способны к какой либо иной деятельности, что адвокаты и журналисты по профессии, они таковыми же оставались и в самые критическая минуты революции, полагая, что убили врага сарказмом или ловкой остротой, то станет

понятно, почему дни их партии были сочтены и никакие манифесты и циркуляры не могли ее спасти.

## VIII

Народная депутация в министерство внутренних дел. - Письмо Ролана в законодательное собрание. - Террор. - Воззвание к Парижу. - Ролан-обвинитель коммуны. - Защитник г-жи Ролан. - Вторичная отставка. - Обвинение в измене. - P?ge Duchesne и его нападки на г-жу Ролан. - Жизнь ее в опасности.

В знаменитое воскресенье 2 сентября, когда известие о неудаче французских войск на границе подняло обезумевший народ, и кровь лилась во всех парижских тюрьмах, депутация из 200 человек явилась в министерство внутренних дел и громко требовала министра. Ролана не было дома. Жена его, услышав шум, выслала к ним сказать, что если они желают, то могут говорить с ней. Несколько человек поднялись к ней наверх и объявили, что им нужно оружие: они хотят идти на пруссаков. Она стала объяснять им, что у ее мужа нет оружия, что они могут обратиться за этим в военное министерство. Ей отвечали непечатной бранью и потребовали самого Ролана. Тогда она, чтоб убедить их, что его нет дома, предложила им осмотреть вей комнаты и еще раз посоветовала идти в военное министерство или наконец идти в коммуну с жалобой; а кто хотел говорить с ее мужем, тот мог найти его в морском министерстве, где в эту минуту был в сборе весь совет министров.

О резне, происходившей в эту ночь, узнали только на другое утро. Первым делом Ролана было написать в собрание донесете обо всем случившемся. «Письмо это, столь же знаменитое, как и его письмо к королю, - говорит г-жа Ролан, - подняло такую же бурю восторгов». Хотя собственно трудно понять, к чему могли относиться эта восторги? Неужели описание ужасов этой ночи было так картинно составлено, что могло возбудить восторг, и собрание, как Нерон, аплодировало зрелищу? Как бы то ни было, но оно ничего лучшего не придумало, как напечатать и повсюду, разослать речь министра. Г-жа Ролан видит в этом весьма понятную дань удивления слабых людей перед мужеством человека, которым они восхищаются, но которому не смеют подражать. И забывая, что ее муж не журналист, а

государственный человек, она восхищается в нем тем, за что клеймит депутатов: его многословием.

Резня продолжалась; полиция оказалась бессильной; мирные граждане сидели по домам, не решаясь выйти на улицу. И так продолжалось четыре дня! Несколько сот человек навели террор на весь Париж. У Ролана разыгрались его катары, разлилась желчь. 3-го числа он писал: «я требую отставки, если законы запрещают мне действовать». Но 5-го числа резня продолжалась, а он все оставался министром. 13-го, он обратился с длинным воззванием к Парижу, стараясь оправдать себя в его глазах. Вообще задача была нелегкая: воздавая хвалу Парижу за резню 10-го августа, произнести слово осуждения за резню 2-го сентября! Нужно было, одним словом, подорвать силу коммуны, услугами которой можно было пользоваться, пока она была нужна, но которую следовало немедленно уничтожить.

Г-жа Ролан высказывается на этот счет очень решительно. Это опять та же теория о герцоге Орлеанском. Так как самые энергичные деятели не всегда бывают самыми честными людьми, то нужно ими пользоваться, пока есть в этом надобность и удалять их, как только надобность в них миновала. В августе коммуна сослужила службу республике, - это было хорошо; но в сентябре она ударила в крайность - это было дурно! нужно было обуздать ее и Ролан явился ее обвинителем в собрании. Обвинять ее - значило обвинять Париж! Попытка довольно смелая со стороны человека, который за несколько дней до этого уверял, что героизм столицы нанес последит удар деспотизму.

На обвинение в тирании коммуна ответила Ролану тем же. Среди монтаньяров пронеслось насмешливое прозвище короля Ролана или roi Soso, как называл его Эбер в своей газете. За ним полетели другие, все более и более нелепые обвинения: в воровстве, в тайных сношениях с пруссаками. В одном из шумных собраний за честь оскорбленного министра вступился друг его жены, мрачный жирондист Бюзо, последняя любовь г-жи Ролан, человек, внушавший ей такую же безумную страсть, какую чувствовал к ней сам.

- Никогда, - гремел он, - люди 10-го августа не могут сойтись с убийцами 2-го сентября!

В собрании поднялся шум.

- Не о вас говорят! - кричали ему со всех сторон. Но постоянные нападки на Ролана, в которых нередко задевали и его жену, вывели его из себя, и не было никакой возможности растолковать влюбленному, что не о нем говорят.

Ролан догадался, наконец, что надо уходить. В январе он подал в отставку. На этот раз никто его не удерживал; отставка его встречена была общим молчанием и он удалился в глубоком унынии с одним только желанием провести остаток своих дней в тишине и неизвестности! Желание мало исполнимое в это время, когда судьба жирондистов была решена и начались уже повальные обвинения их в измене, в сношениях с Дюмурье, в намерении отделить Париж от провинции... Каждая новая неудача в армии и новое волнение в провинции, возбуждая умы парижан, только ускоряло гибель людей, заподозренных в том, что они хотят двинуть на Париж силы департаментов. Мог ли простить самодержавный Париж такое посягательство на свое великое мировое значение, и если б жирондисты не были виновны ни в чем другом, то и этого одного было достаточно, чтобы повести их на эшафот!

Все время, пока Ролан оставался министром, он был предметом насмешек разных якобинских газет, особенно знаменитого *Revue Duchesne*, этого органа парижской коммуны. Листок этот, выходявший иногда - в 80 тысячах экземпляров, всегда на дрянной, пропускной бумаге, со множеством грамматических ошибок и без обозначения месяца и числа, с особенным ожесточением преследовал жену министра и говорил о ней, как о старой, раскрашенной бабе с фальшивыми волосами. Никакая клевета не могла более оскорбить г-жу Ролан и она не в силах была забыть ее. *Revue Duchesne* представлял ее не иначе, как возлежащую на софе, *comme la ci-devant reine, madame Coso*, окруженную своими поклонниками, разными жирондистскими, *beaux-esprits*, и рассуждающею без конца о войне, о политике, о народном продовольствии... Не мог он также простить ей ее министерских обедов, где собирались все те же ненавистные ему умники, и за хорошим обедом, поливая его хорошим вином, рассуждали о политике. *Revue Duchesne* рассказывает с злой иронией, как депутация санкюлотов явилась раз к добродетельному Ролану в то время, когда он обедал и как

будто бы двадцать поваров готовили ему разные фрикасе, а служившие за столом лакеи бежали мимо них с блюдами и просили дать им поскорее дорогу, так как они несут соусы добродетельного Ролана. Рассказывалось далее, как один из депутатов опрокинул впотьмах десерт добродетельного Ролана и т.д. *Revue Duchesne* описывал не только обеды министра, но и любовников его жены.

Рядом с этими безнаказанными нападками на Ролана в газетах, даже и самая жизнь его не была в безопасности. Какие-то подозрительные личности бродили по вечерам около его дома. Каждую ночь можно было ждать, что эта ночь будет для него последнею; и он, и жена иначе не спали, как с пистолетом под подушкой. Нужно было особенно любить власть, чтобы не иметь сил расстаться с ней даже и при таких условиях. Друзья несколько раз предостерегали их и не советовали оставаться ночью в министерском отеле. Г-жа Ролан только раз уступила этим советам и уже переделась в крестьянское платье, чтобы уйти из дому незамеченной, но досада на себя за свою минутную слабость заставила ее сбросить с себя это платье и остаться на зло всем. В этом случае ею руководили еще и другие соображения: она справедливо рассуждала, что в своем доме они более безопасны, чем на улице. Можно было убить министра из за угла, но чтобы напасть на него в его собственном доме требовалось гораздо больше дерзости со стороны его врагов и не могло остаться безнаказанным. «Если б это даже и случилось, говорит она, тем лучше! министр, погибший на своем poste послужил бы своей смертью общему делу и не был бы забыт потомством». Она сама не прочь была погибнуть со славой, чтобы это видел целый народ и не забыла об этом история. Такая именно смерть и ожидала ее.

## IX

31 мая. - Попытка арестовать Ролана . - Г-жа Ролан в Конvente. - Ее негодование. - Разговор с санкюлотамн. - Сцена ареста. - Тюрьма. - Душевное состояние г-жи Ролан. - Эпизоды в тюрьме. - Письмо к Робеспьеру. - Скупость казны относительно заключенных.

Последний день мая был роковым днем для жирондистов. Дело шло для них уже не о победе, а просто о личной безопасности.

Коммуна не забыла Ролана и отметила его в числе своих жертв. 31 мая, когда во всех концах Парижа ударили в набат и вооруженные толпы народа собирались на улицах, не зная еще, что случилось и кого надо бить, в половине шестого вечера шесть человек явились в министерство с приказом об аресте Ролана. Приказ был подписан революционным комитетом. Ролан сказал, что не признает этой власти и добровольно не подчинится ей, но что они могут взять его силой. Представители коммуны на этот раз были вежливы и объявили только, что доведут о его ответе, до сведения комитета.

Г-жа Ролан решила прибегнуть опять к тому средству, которое уже два раза было употреблено ею с таким успехом: обратиться с письмом в собрание представителей. Громадный успех ее двух первых писем, с доносом на короля в собрание и на парижскую чернь в сентябре, позволял ей надеяться, что и на этот раз результат будет тот же. «Написать письмо, показать его мужу и отправиться в собрание было делом нескольких минут, - говорит она. - Я села одна в фиакр и поехала в Тюльери. На мне был только утренний капот, сверх которого я накинула шаль и закрыла лицо вуалью». На дворе Тюльери была масса вооруженного народа. Она прошла через эту толпу, но все двери в залу собрания нашла запертыми. Часовые не пропускали ее; никакие просьбы не помогали. Тогда она переменила тон и заговорила языком, которого не постыдился бы любой сторонник Робеспьера.

- Разве вы не знаете, граждане, что в такой день, когда отечество в опасности, когда со всех сторон оно окружено изменой, вы должны пропустить всякого, кто имеет сообщить собранию что-нибудь важное! Почему вы знаете, какой громадной важности может быть то письмо, которое я имею передать президенту!

После этих магических слов двери отворились и ее ввели в залу просителей. Там она нашла некоего Роза и просила провести ее в залу заседания или по крайней мере похлопотать о том, чтобы письмо ее было прочитано в этот же вечер. Он взял у нее письмо и ушел. Прошел целый час. Она в сильном волнении ходила взад и вперед, каждый раз с беспокойством оглядываясь, когда дверь в залу отворялась. Страшный гвалт слышался оттуда.

Роз вернулся, наконец, и объявил, что нет возможности добиться толку: в собрании шум невообразимый; у решетки стоят с прошениями и требуют ареста двадцати двух.

- Кто председательствует?

- Эро де Сешель.

- А! значит, мое письмо не будет прочитано. Приведите мне кого-нибудь из депутатов. Скажите Верньо, что мне нужно говорить с ним.

Прошло еще несколько времени. Явился Верньо и ничего утешительного не сказал ей.

- Если вас даже и допустят к решетке, к вам, может быть, будут снисходительны, как к женщине, но едва ли вы чего-нибудь добьетесь. Конвент сам теперь бессилён.

- Как бессилён! Да он в настоящую минуту все! - воскликнула она с негодованием. - Весь Париж ждет от него указания, как ему поступить. Если меня допустят, я скажу то, чего вы как депутат не можете сказать, не подвергаясь опасности. Я ничего на свете не боюсь и если не спасу мужа, то по крайней мере заставлю их выслушать всю правду.

Чувствуя как гнев и негодование овладевают ею и как красноречива она может быть в эту минуту, она рвалась в собрание, чтобы сказать ему речь. Вместе со всеми жирондистами она думала, что дар слова такое оружие, против которого устоять невозможно, что ее грозная речь заглушит набат и покроет шум мятежа.

Верньо постарался убедить ее, что раньше полутора часов ее письма не прочтут, что прежде будет обсуждаться какой-то декрет, да кроме того масса петиционеров стоит у решетки. Тогда она решила съездить домой, узнать, что там делается и потом вернуться опять.

Дорогой ее остановили войска; ехать дальше не было возможности. Она выскочила из фиакра и пошла пешком. Пока она отыскивала, мужа, который скрывался у знакомых, переговорила с ним и поехала назад, был уже одиннадцатый час. По пустынным, хотя и освещенным улицам добралась она до карусельской площади. Но там все уже было тихо и на месте вооруженной, шумевшей толпы, стояли только две пушки и

несколько часовых. Двери собрания были заперты, заседание закрыто. Нельзя представить себе ее гнева и отчаяния.

«Как! - говорит она, - в день восстания, когда с утра бьет набат, когда за два часа перед этим 40 тысячная вооруженная толпа окружала конвент и депутаты от разных кварталов ворвались силою в залу заседания, они решились закрыть заседание!»

Очевидно, что конвент сам был бессилён, и власть перешла в руки парижской коммуны. Не зная, что делать, от кого узнать, что случилось, она искала глазами, с кем бы ей заговорить. У пушки стояло на часах несколько санкюлотов; она спросила их, что тут произошло.

- О! отличная вещь! Они обнимались и пели марсельезу, вон там, под деревом свободы.

Она вступила с ними в политический разговор и заметила, что неизвестно еще, как посмотрят на это департаменты и что не мешало бы спросить сначала их мнения.

- Зачем? - возразили они ей. - Разве 10 августа спрашивали их! Разве они не согласились со всем, что сделал Париж? То же будет и теперь.

Ответ был жесток по своей справедливости. Слишком поздно заговорили о департаментах! Если умели обходиться без них прежде, к чему было призывать их теперь?

В ту же ночь г-жа Ролан была арестована. Мужа ее не нашли; он скрылся; а она, считая себя в безопасности, вернулась домой. Даже арест не испугал ее; она была уверена, что никаких последствий это иметь не может. Она еще надеялась на торжество жирондистов и на то, что провинция придет к ним на помощь. Она преувеличивала силы департаментов и бесконечно умаляла значение Парижа. Что такое был Париж в ее глазах? Одна восемь-десять третья часть Франции. Арифметический расчет говорил ей, что 82 департамента должны победить 83-й. Расчет неверный, в чем она сама должна была скоро убедиться.

Только что она вернулась домой в эту ночь и села за стол, чтобы писать к мужу, как кто-то постучал в дверь. Было около 12 часов. Явилась целая депутация от коммуны с вопросом, где Ролан. Узнав, что его нет, она очень недовольная удалилась, но у дверей оставила часового. Г-жа Ролан поняла, что надо

приготовиться к всему, спросила себе поужинать, dokonчила письмо к мужу и легла спать. Страшно утомленная, она моментально заснула; через час ее разбудили и сказали, что ее желают видеть какие-то господа. Она наскоро оделась и вышла к ним. Ей объявили, что пришли арестовать ее и опечатать все ее вещи; при этом показали ей не один, а даже два приказа об аресте. Она с минуту колебалась, перебирал в уме все, что могло бы ей служить оправданием к открытому сопротивлению. Ночные аресты, как ей было известно, были запрещены законом. В случае, если бы стали ссылаться на другой закон, который давал право коммуне хватать подозрительных лиц, она могла оспаривать самую законность коммуны. Но это было опасно! власть эту признавал Париж и сопротивляться ей было бесполезно.

Она покорилась. Послали за судебными властями, опечатали все ее вещи, шкафы, даже окна и даже фортепиано. Ей оставили только платья ее дочери и небольшой узелок с бельем. Во время этой процедуры в дом набралось много посторонних зрителей и от пятидесяти до ста человек разгуливали по комнатам. Воздух сперся, духота была невыносимая, но никто не смел удалить толпу. В 7 ч. утра она простилась с дочерью и с прислугой и спокойно вышла на улицу, где среди выстроившихся шпалерами солдат, дошла до фиакра. На улице толпился народ и женщины кричали ей: «На гильотину!» Она смело, не поднимая окон, проехала среди этой толпы, которая несколько месяцев спустя точно так же провожала ее на эшафот. Дорогой она нисколько напыщенным, хотя и смелым языком говорила с провожавшими ее комиссарами и сама должна была сознаться, что они почти не поняли ее. В тюрьму она вошла спокойно. Тюрьма была для нее отдыхом после политических бурь и семейной жизни. Она давно уже не любила мужа и всей душой принадлежала другому. Быть наедине с собой значило быть с тем, к кому постоянно стремилась ее мысль. Поддерживать и утешать мужа, которому в это время было за шестьдесят, становилось ей не под силу. Она вошла в тюрьму, как другой вошел бы в монастырь, чтобы отдохнуть душой. Пока муж ее был министром, служебные интриги, борьба партии и жажда власти отодвигали родину на задний план. Запертая в стенах Аббатства, она вспомнила о ней

опять. Мысль об этой погибающей родине поддерживала ее в последние минуты жизни. В ней вновь проснулись чувства молодости, то чувство, с каким она читала когда-то истории Гракхов и древних Афин. Она опять принялась за своего Плутарха и за свои любимые книги.

В первый же день заключения она написана в конвент, тщетно взывая о справедливости. Ей хотелось, чтобы голос ее был услышан, если не для того, чтобы убедить конвент, который был уже совершенно бессилён, то хоть для того, чтоб ее услышала провинция. Прошло несколько дней. Она ждала, что ее позовут к допросу, но допроса не было. Приходили только разные господа из полиции и еще откуда-то; все они своим грязным, растрепанным видом внушали ей отвращение. Какая разница с теми, кого она привыкла видеть в своих салонах! Революция выдвинула новых деятелей. Один из них вступил с ней в разговор и спросил ее, довольна ли она своим помещением и не скучает ли она.

- Скука, - ответила она ему, - болезнь людей с пустой головой и такой же пустой душой. Я не скучаю, но я протестую против несправедливости, с какой меня заперли здесь и требую, чтобы меня выпустили.

- Да, но во время революции столько дела, что нельзя за всем усмотреть.

- Подобный этому ответ дал один король женщине, которая просила у него правосудия. На это она сказала ему: «Если у тебя нет времени оказать мне правосудие, у тебя нет времени быть королем». Смотрите, чтоб и вам не сказали то же.

Время шло, допроса все не было. Г-жа Ролан с нетерпением ждала, чем все это кончится. Когда она прочла декрет об аресте двадцати двух, газета выпала у нее из рук, и она с отчаянием воскликнула:

- Моя родина погибла!

С арестом этих людей, этих лучших представителей жирондизма, ее партия погибла. Вся надежда была на тех, которые успели бежать в провинции, чтобы посеять в ней идею о федеральной республике. Но в Париже слово «федералист» было равносильно слову «роялист»: оно вело на эшафот.

После неудачной попытки обратиться с письмом в конвент (письма этого не стали читать), г-жа Ролан писала к министрам, напоминая им их обязанность посещать тюрьмы и выпускать оттуда всех невинно заключенных; к редактору одной газеты и, наконец, к самому Робеспьеру<sup>7)</sup>:

«Вы хорошо поймете, - так начинала она, - что я пишу к вам не для того, чтобы о чем-нибудь просить вас. Я никогда никого не просила, а тем менее способна на это теперь. Просить могут только или виновные или рабы. А я... не хочу даже жаловаться. Но каким образом я, женщина, могу быть замешана в политические бури и какая судьба меня ожидает? - вот два вопроса, которые я вам предлагаю! Они важны не по отношению ко мне лично. Что за дело до того, что погибнет одна лишняя песчинка, одно лишнее существо в общей гармонии миров. Вопросы эти важны по отношению к свобод и к счастью моей родины...»

В таком духе было все письмо. Оно было очень естественно со стороны человека, который, погибая сам, думал, что с ним вместе погибает весь мир, но в нем был между прочим намек на королеву, не делавший чести сердцу г-жи Ролан. Мы уже упоминали как она возмущалась тем, что она, женщина строгих нравов, была поставлена на одну доску с преступной и ветреной австрийкой. Дух нетерпимости не оставлял ее даже и тут. Она не могла без негодования говорить о своих товарищах по заключению, среди которых были и публичные женщины и взятые с улицы преступники. Аристократ и санкюлот были ей одинаково ненавистны. Несмотря на ее заявление, что жаловаться она не будет, мы видим однако в письме жалобу на то, что она во всем нуждается и, не зная где достать денег, хотела продать пустые бутылки из своего погреба; но это подняло целую историю, дом окружили и арестовали хозяина. В тюрьме ей пришлось испытать на себе последствия одного из неудачных распоряжений своего мужа. В бытность свою министром он уменьшил с пяти франков на два сумму, отпускавшуюся ежедневно на содержание заключенных. За вычетом 20 су в пользу консьержа, на остальные 20 су нужно было не только пить, есть и одеваться, но и платить за отопление, да еще при тогдашней дороговизне, когда цены на все поднялись втрое. Сначала не платили по крайней мере за

стены, но потом и за комнату в тюрьме надо было платить, как за номер в гостинице от 15 до 30 франков в месяц, смотря по тому, была ли в ней одна или две постели. За то стали отпускать по 12 фунта хлеба и по одной порции бобов на человека.

Г-жа Ролан, хотя и сильная духом, не могла, однако, переносить физических лишений и платила отдельно за обед. Обед был скромный, но все же масса заключенных не имела даже и того, и это подало повод впоследствии обвинять ее в том, что она пировала, когда другие голодали. Кроме отдельного стола, она пользовалась и другими удобствами; так, одна из заключенных за деньги убирала ей комнату, а потом консьерж поместил ее у себя, где она была окружена некоторым комфортом и имела под рукой не только книги, но даже и фортепиано. Из ее слов не видно, чтобы ей когда-нибудь пришло на мысль, что ее привилегированное положение может возбудить такую же зависть и негодование в других, какое когда-то внушали ей аристократы с их ненавистными привилегии. Было ли этому причиной сознание, что она страдает невинно, когда другие несут заслуженную кару, или просто известный взгляд на вещи, но она не считала своим долгом есть с общего стола и нести на себе общую тягость.

## Х

[Допрос. - Освобождение и вторичный арест. - Новая тюрьма и ее нравы. - Последняя любовь г-жи Ролан. - Ее переписка с Бюзо. - Ее отзывы о политике. - Несбывшиеся надежды. - Последняя борьба. - Мысль о самоубийстве. - Суд и казнь.](#)

Нужно, однако, сознаться, что она до последних минут сохранила замечательное присутствие духа. Она жила в тюрьме, как можно было жить где-нибудь у себя в имени, так же читала Плутарха и Тацита, занималась музыкой и писала к друзьям. Она осталась верна себе во всем, даже в своем желании нравиться, не покидавшем ее до последних минут. И в те дни, когда никто не был уверен, что доживет до вечера, она находила время заниматься своим туалетом, всегда быть изящно причесанной и красиво одетой: белое кисейное платье с кружевами и с черным бархатом и кокетливый чепчик на распущенных волосах были ее обычным нарядом.

Недели через две после того, как ее арестовали, она была приведена к допросу. Но это была пустая формальность, совершенно лишняя для людей, которые говорят, что заговорщики никогда не оставляют вещественных доказательств своего преступления и что потому отсутствие таких доказательств уже само по себе есть важная улика против них, когда Эбер в своей газете приглашал поторопиться и не терять много времени на то, чтобы укоротить на целую голову подлецов, изменивших своему отечеству! На допросах г-жа Ролан держала себя с достоинством, но своими пространными ответами выводила из терпения демократов, любивших во всем краткость и быстроту.

В конце дня ей пришли объявить, что она свободна. Она имела несчастье поверить этому и поехала домой. Но не успела она подняться на лестницу, как к ней подошли двое каких-то людей и объявили ей, что она снова арестована. К чему сыграли с ней эту жестокую комедию, она не могла узнать. Впоследствии ей стало только известно, что почти в ту же минуту, как ее выпустили из тюрьмы, на ее место привели туда Бриссо и что может быть нежелание, чтоб они встретились и заставило так поспешно удалить ее оттуда. Несколько позднее та же комната была занята знаменитой Шарлотой Корде.

Новая тюрьма, в которую ее заперли, Сент-Пелажи, находилась в самом бедном и самом буйном квартале Парижа. Нравы ее обитателей, большею частью вышедших из народа, отличались дикостью и не представляли ничего утешительного для нее. Вот тут-то она и прибегла к покровительству консьержа, чтобы укрыться там среди цветов и книг от близости с этим народом, который когда-то представлялся ей таким несчастным и задавленным. Чтобы не дать отчаянию овладеть собой, она старалась не сидеть без дела. В этой тюрьме были написаны ее мемуары. Отсюда же она продолжала свою переписку с Бюзо, этой последней любовью своей.

Бюзо уехал в провинцию в надежде поднять ее, собрать там армию и двинуть ее против Парижа. Г-жа Ролан из тюрьмы благословляла его на это, старалась поднять его дух и дать ему надежды, которыми жила сама. Все ее письма дышат энергией и все ее усилия направлены к тому, чтобы отговорить его от безумной попытки освободить ее. «Я боюсь только одного,

говорит она, чтобы ты не вздумал спасать меня. Спасая Францию, ты спасешь и меня!» Она старается убедить его, что могла бы это сделать и без него, что уйти вовсе не так трудно, но она сама не хочет этого, чтобы не погубить других и не подводить под ответственность тюремных сторожей. «Могу ли я бежать, когда я знаю, что это будет торжеством моих врагов. Бежать, значить скрываться и каждую минуту дрожать за свою жизнь. Не лучше ли остаться и ждать, чтобы самый ход событий привел к моему освобождению? Это иначе и не может быть. Это вопрос времени, не больше... Если даже и поведут меня на суд, что за беда! Я это предвидела и сумею обратить это на пользу общую... Не думаю, чтобы им удалось погубить меня!»

Она рисует ему свою жизнь в тюрьме гораздо лучше, чем она была в действительности. Никакие решетки и задвижки не могут заковать ее мысли. Мысль ее свободна и так часто летит к нему! Но спокойствие и равнодушие к своей судьбе сменяется гневом всякий раз, как она заговорит о политике. Она не может равнодушно говорить о конвенте, за которым не признает никаких прав. «В Париже теперь нет властей! - говорит она. - То, что называется еще конвентом, представляем шайку разбойников, которые ругаются, как извозчики, проповедуют убийство и сами подают сигнал к грабежу... На развалинах старого порядка возник новый во сто раз ужасней прежнего... Платон был прав, сравнивая демократию с аукционом, на котором продаются всевозможные формы правления».

Убеждая его щадить себя, она ставит ему на вид, как мало людей, способных стоять во главе движения и как они должны беречь себя. Сражаться в рядах простых солдат кажется ей преступлением со стороны того, кто должен руководить движением. Пусть каждый остается там, где он может принести наибольшую пользу! Она ждет той минуты, когда двинется провинция, когда федеральные войска пойдут освобождать Париж, и народ выйдет к ним с расprostертыми объятиями. Та же легкость и пылкость воображения, с какой она делила когда то карту Франции у себя в салоне, рисовала ей и теперь положение вещей в каком то фантастическом свете. «Нет ничего легче, как поднять народ. Юг отлично настроен. Прежде довольно было бы шести тысяч человек, чтобы переменить

правительство в Париже. Теперь нужно больше». Она подает советы Бюзо, что нужно сделать: захватить в свои руки почту, распространять в народе полезные брошюры и обеспечить его продовольствие. Она боится только одного, чтобы опять в их партии не взяли верх люди, которые мечтают, когда надо действовать. «Rever le bien public!»<sup>8)</sup> - горькая фраза эта невольно срывается у нее с языка, когда она заговорит о своих. Она начинает понимать, что деятелей нет среди них; что роль их сыграна: они ударили в набат и ушли, а на звуки этого набата сбежались другие...

В письмах к Бюзо она упоминает о своей дочери, тогда уже 12-летней девочке, которую взяло на свое попечение одно хорошее семейство, и о своем муже. В отзывах о муже слышится какая-то смесь жалости и презрения. Что иное мог ей внушить этот человек, бежавший от опасности и влачивший где-то в провинции свою жалкую жизнь! Свобода уже потому не манит ее, что быть свободной для нее значило опять жить с этим человеком. В тюрьме она ближе к Бюзо, чем была бы на свободе. «Многие удивляются моему спокойствию, - пишет она ему, - но никто не знает моих наслаждений. Ты один должен понимать их».

Чем ближе к развязке, тем тревожнее делается тон ее писем. Жажда личного счастья, то уступает порывам патриотизма, то опять берет над ними верх. В одном месте она говорит Бюзо: «Стоит ли думать о том, что ждет меня! Думай прежде всего о твоей родине. Все остальное придет впоследствии». Но потом страсть берет верх и она с отчаянием признается, что если дела пойдут все так же дурно и никакой надежды не будет, она готова согласиться на его планы бегства. Она просит только об одном - рассчитать все планы и как можно спокойнее действовать. Этим последним воплем отчаяния оканчивается дошедшая до нас переписка их. В июле она написала ему это письмо, в ноябре она взошла на эшафот.

В этот промежуток времени у нее была минута страшной борьбы. Ждать ли казни или покончить с собой раньше? Пока она надеялась, что ее процесс наделает шуму в Париже и послужит столько же к ее славе, сколько и общему делу, она с нетерпением ждала его. Но когда она убедилась, что никакого



процесса не будет, а будет одна формальность, чтобы придать вид законности уже заранее составленному приговору, мысль о самоубийстве стала все чаще мелькать у нее. «Два месяца тому назад я добивалась чести взойти на эшафот; тогда могли еще оценить мой подвиг, могли говорить о нем. Теперь все потеряно...»

Она пишет даже, что-то вроде исповеди, где обращается к близким, к мужу, дочери, друзьям и просит простить ее... Не называя по имени Бюзо, она обращается и к нему и тут высказывает положительную надежду на то, что они должны встретиться в другом, лучшем мире. Эта вновь вспыхнувшая в ней вера в загробную жизнь переходит у нее в какой-то экстаз. Она просит своего возлюбленного не допускать, чтобы чужая рука посягнула на него и самому прекратить свое существование, если другого исхода нет.

В день казни Бриссо ее перевели в третью и самую страшную тюрьму Консьержери, где никто долго не засиживался. Это была последняя станция перед эшафотом. Семь-восемь дней и все было кончено! суд и гильотина ждали в один день.

Последние слова ее, написанные за несколько дней до ее смерти, обращены к ее судьям. Но в них есть одна фраза, обращенная к иному судье: «Боже праведный, просвети этот несчастный народ, которому я так желала свободы!»

Суд, как и следовало ожидать, был пустой комедией. Подсудимой не дали говорить, устроили для виду прения, где единственный свидетель, дававший показания в ее пользу, поплатился за это жизнью, и тут же прочли ей смертный приговор.

В день казни она была спокойна и даже весела. Она шла как на праздник, вся в белом, с распущенными волосами. В пятом часу вечера ее вывезли из тюрьмы. Как и в день ее ареста, народ всю дорогу кричал: «на гильотину!» Особенно неистовствовали женщины, грозившие ей кулаком. Она ехала стоя и с печальной улыбкой смотрела на толпу; глаза ее горели, лицо тоже. Даже вид эшафота не заставил ее побледнеть. Тележка остановилась у самой лестницы, короткой и крутой, которая вела на платформу. Когда ее ввели на эшафот и стали привязывать к доске, глаза ее случайно упали на громадную статую свободы, воздвигнутую во

время празднеств 10-го августа, и тут-то она сказала свои знаменитые слова:

- Свобода! сколько преступлений совершается твоим именем!

Любители зрелищ, присутствовавшие при этой казни, должны были сознаться, что жирондисты умели умирать.

Но героизм на эшафоте не был редкостью в то время. История указывает на удивительные примеры того, какую притягательную силу имела гильотина и как мания самоубийства овладевала людьми, которые каждый день приходили смотреть на нее. Были такие любители зрелищ, которые не пропускали ни одного и кончали тем, что сами клали голову под нож гильотины. Вид смерти опьянял их, с ними делалось головокружение, что-то вроде того, что испытывает человек, когда с вышины смотрит вниз. Умереть в такую минуту не трудно, но умереть красиво умел не всякий. А жирондисты умели это делать и знали, что сказать на прощанье жадному до фразы Парижу. Умирала и Шарлота Корде, и Людовик XVI, и все с одинаковым мужеством. Мужество никого не удивляло! Но сказать с эшафота народу: «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей!» - или что-нибудь подобное, на это был способен только жирондист.

#### Примечания автора

<sup>1)</sup> Memoires de m-me Roland, стр.45.

<sup>2)</sup> Там же, стр.280.

<sup>3)</sup> Там же, стр.202.

<sup>4)</sup> Там же, стр.392.

<sup>5)</sup> Если заблудшие братья сознают свою ошибку, пусть придут ко мне, мои объятия им открыты.

<sup>6)</sup> Я преклонился перед 10-м августа, и содрогнулся 2-го сентября.

<sup>7)</sup> Письмо не было отправлено.

<sup>8)</sup> Мечтать об общественном благе.